

ПУСТЫЕ НЕБЕСА

1

Он проснулся в слезах. Почему он плакал, почему так надрывалось во сне сердце? От жалости к себе, к людям, от ощущения уходящей жизни? Снилось-то обычное, из юности. Даже почти не снилось — виделось в полузабытьи, в которое к нему часто в последнее время приходили всякие картинки из прошлого — лица умерших людей, какие-то села, через которые он за свою скитальческую геодезическую жизнь прошел без счета. И думалось, что все изгладилось, заволокло временем навсегда, ан, нет, возникнет в этом полузабытьи какая-то околица, (где, когда он видел ее, Бог знает) или осинник молодой, рассекаемый дорогой.

Вот и сейчас виделось, что идет среди ржи по узкой тропинке, держа теодолит на штативе через плечо. Идти тесно и скучно. Потом рожь кончилась и открылись дальние склоны, поросшие невысокой вытоптанной травкой, испятнанные желтыми глинистыми обрывами.

Он установил теодолит и начал работать. И в этой голубизне, невесомости работалось легко. Несильный ветер доносил какой-то далекий голос: «Ну иди же, иди... Сынок, сынок, сынонька... Ну иди же». Так кричат деревенские старухи, измученные непокорной скотиной, не желающей идти в хлев. Старуха и корова виднелись темными пятнами на дальнем склоне. А рядом двигалось что-то белое.

Он работал и работал, гоняя парня с рейкой по близлежащим оврагам, привыкнув к этим однообразным крикам. А через час они были совсем рядом — старуха и корова. Старуха охрипла, а корова шла как-то странно покачиваясь, то и дело

останавливаясь. И то белое, что двигалось рядом с ней и к чему она бросалась со страстным мычаньем, был новорожденный теленок. Ослепительно белый, изукрашенный черными пятнами, он шел на зыбких ножках, волоча под брюхом пуповину, наклоняясь к траве, не зная, что ее можно щипать. Они скрылись за бугром и долго еще слышался хриплый зов старухи — «Сынок, сынок, сынонька...»

Что же так растрогало его в этой сцене, всплывшей в сновидение? Почему так жарко откликнулось сердце на этот зов, словно к нему обращался кто-то: «Сынок, сынонька...» Кто звал его, старика, из голубизны небесной — Господь Бог, его названная мать Дуня, его кровная мать, которую он никогда не видал? Он поплакал уже пробудившись, утер лицо краем пододеяльника, сел на кровати, свесив ноги, растирая побаливающие колени.

Надо было начинать день. Долго мыл лицо, плескал холодную воду на небритые щеки. Потом вскипятил воду, заварил чай, отрезал пару ломтей хлеба и осторожно, скупно намазал их маргарином. Голода он не чувствовал, скорее тоску по вкусной еде — копченой колбасе, жирному боку селедки, отбивной свинине. Все, что он ел всю жизнь и чего лишен был в своей старческой нищете как-то жило в нем воспоминаниями о соках крепкой пищи. Питаться же сейчас приходилось супом из перловки и грибов, собранных и засушенных летом, картошкой со своего огорода, покропленной подсолнечным маслом. Иногда позволял себе кефир, но больно дорог он для его бюджета.

Надо идти гулять. Нельзя давать себе засиживаться, залеживаться, потом и вовсе не встанешь. Надел синее ратиновое пальто с мерлушковым воротником (когда-то, казалось, снесу не будет этому ратину, а как залоснился, потерялся, да и то сказать — годов пятнадцать этому пальто), порыжевшую кроличью шапку, вбил ноги в резиновые боты на две пары теплых носков — на улице вечная мокреть, словно перевелись зимы с белым снегом да с морозцем... И отправился в парк, кружить по аллеям среди нагих деревьев, выбросивших ветви к скучному серому небу.

Гулять, гулять, выхаживать здоровье, отодвигать то неизбежное и страшное, о чем думает всякий старик — нет, не смерть

страшна, а неподвижность, бессилие, умирание. «В движенье, мельник, жизнь идет, в движенье». Может еще, Бог даст, потопчем эту землю, ее раскисший снег, корявый асфальт, темные лужи. Так-то, Андрей Иванович, жив ты еще Андрей Иванович.

2

Ах, пасха у мамы Дуни! Как помнится все по прошествии полувека, как выпукло видится со старческой дальноркостью памяти. Серый тугой студень, крашенные яйца, водка в граненых стаканах. По одну сторону он между Дуней и ее братом Мишей — здоровенным сумрачно ласковым мужиком, вальцовщиком с металлургического завода. Напротив также рядком — Зинка, Полинка с мужьями и детьми. Во главе стола — дядя Гриша, сухонький, шуплый, молчаливый, совсем не ражий и красномордый, каким положено быть мяснику. А ведь он еще в нэповские времена имел мясную лавку, потом работал на мясокомбинате бойцом скота, мастером.

На Дуне он женился, овдовев. Казалось бы, жить ему на седьмом десятке с дочерьми, так нет — понадобилось жениться. И Дуня пошла в его дом уже на склоне своей скудной жизни, зная, что нелегко ей будет с этими кобылами под одной крышей.

Так она звала Зинку и Полинку, а они и правда были как кобылицы статны, задасты и крутобедры, так что Андрей в свои шестнадцать во время хмельных семейных застолий заглядывался на их налитые зады, одариваемый понимающей улыбкой.

Горько было Дуне в чужом доме, но, видно, больно уж тягостным стало ее вдовство. Впрочем, было ли это вдовство, в самом ли деле имелся этот сгинувший невесть где муж, давший Андрею отчество? Да и его ли было то отчество, ведь фамилию Андрей носил дунину — Таланов, и отец ее тоже был Иван. Так что вроде бы на себя записала она своего «сыночкя», как делали тогда прижившие ребенка на стороне девки.

Они жили вдвоем в слободе — дальней окраине города, в комнате старого коммунального флигеля, половину которой занимала печь. На ней спала Дуня, и он ребенком зимними вече-

рами забирался к ней туда в сухое тепло кирпичей, шуршанье пересохшего тряпья и подсолнечной шелухи.

Сам-то он спал на железной кровати с панцирной сеткой, с которой легко соскальзывал тюфяк. Больше ничего, кроме стола и шкафа, в комнате не помещалось. Но когда Дуня, оставив его 15-летнего в этой комнате, ушла к дяде Грише стало ему просторно.

Жить было трудно, голодно, и хотя Дуня что ни день забегала, пыталась подбросить хоть что-то от щедрот дяди гришиного сытого дома, но хозяйкой она там так и не стала, кобылы следили за ней: «Здесь ешь, щенка своего приводи, а на вынос нельзя».

Он перешел в вечернюю школу и устроился тормозным кондуктором на железную дорогу. Ездить приходилось больше ночами, и ночи те были ледяные и железные. Ржавые перила, ржавое колесо тормоза, казенный тулуп, хоть как-то спасавший от ветра, темная масса леса вдоль обочин, лязг сцепок, затерянность в этом промозглom мире, словно кто-то запихал его туда, бросил в нестерпимо черную свежесть стремительно бегущего пространства и забыл до утра.

Утро приходило тусклым медлительным рассветом, и он брел со станции к себе в слободу, чтобы отоспавшись топить печь, варить картошку и потом снова, забравшись в постель, уже в белом неярком снежном свете дня читать всякую всячину, преимущественно исторические романы.

Тогда-то стали вырабатываться у него вкус к одиночеству, к разжигавшему воображение неторопливому чтению, привычка жить в выдуманном мире, на которую впоследствии наслышалось одинокое пьянство.

Пил он, как ему казалось, всегда, как все вокруг — самогон, сучок, брагу. Но юношеское опьянение его было другим, чем в зрелые годы, когда он мог посреди полевого сезона, забросив все дела, несколько дней сидеть в избе с бутылкой в тяжелой мучительной сосредоточенности, тяжело уставясь в стол, собирая разбегающиеся мысли на чем-то окончательно важном, и казалось, собери он их, ответишь на последний и главный вопрос.

В молодости водка распахивала мир, обостряла его восприятие до какой-то мучительно выпуклой стереоскопичности, так что, идучи от дуниного застолья, он с болезненной страстью впитывал эти покосившиеся дома, некрашенные заборы, из под которых текли дымящиеся весенние ручьи, серые ветлы, обнажившийся после снега уличный мусор. Нес в себе запахи, звуки и краски, становившиеся частью его самого, и, казалось, что знает он о мире больше, чем кто либо другой.

Потом, когда молодость еще не прошла, а мир расширился, и он стал непрестанно ездить, эта изощренная наблюдательность и острота восприятия удивляли его самого. Едучи после выпитых за обедом двухсот граммов в уазике со своим теодолитным хозяйством, он не мог понять, почему ему доставляет такое паталогическое удовольствие странствия по этим грязным полям. Мокрая земля в пятнах сероватого снега, серозеленая прошлогодняя трава, желтые глинистые пласты дороги, коричневые лужи в сетке дождя, спина шофера, старик-попутчик с пергаментным лицом, черные избы окрестных деревень — он видел и ощущал все это как только что родившийся.

Может, было в нем какое-то юродство, ведь и со сверстниками своими он сходил в юности туго, и драки его всегда обходили, даже на семейных пьянках у Дуни, где зинкин да полинкин мужья обязательно затевали драку, его никогда не трогали: то ли чужим считали, то ли вечного андреева заступника Миши с его немереной силой опасались.

А то, бывало, сидит себе где-нибудь в зале ожидания аэропорта, упражняя наблюдательность опять же после двухсот граммов, пропущенных в местном буфете, и кажется, что все-то он про людей знает, все до мелочи видит и понимает.

Вот напротив летный капитан, обняв женщину, положил ей голову на плечо. Млеет ли от ее близости, спит ли? Нет, не спит, открыл глаза, взгляд живой, умный, счастливый. А она дебелая, лицо нездорово бледное, подкрашенное, но не без миловидности. Что-то он ей говорит — горячо, улыбочиво. Потом взглянул на проходящего матросика в бушлате, с расчесанной чолкой из-под бескозырки, ладного, играющего телом, и, умиляясь, показал его женщине, что-то начал ей растолковывать,

судя по всему, про морячка. Видны в нем доброта и интерес к людям, свойственные человеку, когда он влюблен, и счастлив, и открыт миру, вбирает его в себя.

Эта открытость и проникновенность капитана накладывались на такую же проникновенность Андрея, возникавшую у него без особых внешних поводов (не считать же поводом выпитые двести грамм), рождая общее силовое поле. И он, почти физически ощущая это поле, начинал думать, что, может, в надматериальном мире, за пределами его есть нечто такое — аура — не аура, скорее какая-то среда общего слияния, откуда вышли все человеческие души и куда они уйдут после смерти телесной оболочки.

Поделиться такой мыслью было не с кем, ибо любой, кому он мог бы высказать ее, посоветовал добавить еще двести и тогда он эту среду почувствует еще лучше. Да он и сам понимал, что проспится, вытрезвится и мысли эти вместе с даром проникновения и наблюдательности уйдут, растворятся в обычной жизни.

3

Дуня умерла в 60-м. Андрею уже было тридцать, он лет десять после окончания топографического техникума работал геодезистом в разных полевых отрядах, привык к кочевому быту, к сибирским и среднерусским деревням, к спокойной одинокой жизни зимой, во время камеральных работ в каком-нибудь небольшом городе, где располагалась база отряда.

Как раз в такую зимнюю пору и пришла телеграмма от Миши. И Андрей взял отпуск, чтобы после похорон с месяц пожить в комнате своего детства, где в последние годы после смерти дяди Гриши снова обитала Дуня.

Похоронили они с Мишей ее дружно и достойно — отпели в церкви, поминки устроили небедные, плиту хорошую раздобыли, чтобы весной, как оттает земля, установить ее на могиле. «Все путем», — удовлетворенно сказал Миша, к тому времени вышедший на пенсию, подрабатывавший где-то сторожем и одиноко (с женой он развелся давным давно) живший в той же слободе.

После поминок Андрей долго отсыпался, лежал на кровати, на сползающем тюфяке, как в свои юношеские кондукторские времена, ощущая белизну снега и покой вымирающей слободы за окном. Вылез из нагретой постели, накинул пальто, принес из сарая наколотых и аккуратно сложенных дров (видно, Миша для сестры постарался), растопил печь, согреваясь, в задумчивости походил по комнате, вспоминая без особой тоски и печали Дуню.

Собственно, ничего такого, что хоть как-то обрисовывало ее характер, он вспомнить не мог. Была она так проста, тиха и незлоблива, что даже ругаться по-настоящему в этом слободском мире, где, казалось, без ругани и крика не проживешь, не могла. Когда Зинка с Полинкой обижали ее, лишь тихо ворчала, да лицо цепенело и губы поджимались.

Похоже, что единственным свойственным ей сильным чувством была любовь к Андрею. Говорят, она таскала его на руках едва ли не до трех лет, и когда соседки кричали ей: «Да что ж ты парня-то такого здорового на руках прешь?» — отвечала: «Ножки-то у яво устали...»

Когда он студентом готовился к экзаменам, она ставила перед ним стакан чаю, садилась напротив, подперев щеку рукой, приговаривая: «Ой, да трудная же у тебя ученья».

У нее было длинное, постное лицо с продольными крупными морщинами. Ребенком, забравшись к ней на печь, он просил рассказать сказку, она отвечала: «Не знаю я сказок, сынок. У нас в деревне бабки сказывали, да я не помню ничего». Он прижимался к ней и засыпал без сказки.

О себе она никогда не говорила. Андрей знал только, что жила в деревне, родители померли в голодный год, Миша ушел в город, а потом и она туда отправилась. Работала судомойкой, вахтером. Потом замуж за дядю Гришу вышла. Вот и вся ее жизнь. Последние годы, когда он приезжал ненадолго, жаловалась: «Ох, печенка у меня все болит и болит...» А за год перед смертью сказала: «Дожить бы до твоего сыночка, понянчить бы яво».

Да, проста, чиста была Дуня, как трава, как эти серые облака, что плыли за окном. Отжила незаметно и тихо ушла. Не станет Андрея и Миши и память о ней исчезнет, как исчезает трава, облака, этот серый покосившийся флигель.

Согревшись, попив водочки и чаю с остатками вчерашней колбасы, помыл посуду, подмел, осмотрел дунино нехитрое хозяйство. Открыл сундучок, где, знал он, держала она свое смертное — чистое белье, деньги на похороны. Деньги так и лежали — несколько новых сотенных. «Ах, Дуня, Дуня, уж не нашлось бы у меня на что тебя похоронить!»

Под чистыми юбками и полотенцами нащупался пакет из пожелтевшей, потершейся по сгибам газетной бумаги. Аккуратно развернув эту ломкую бумагу, Андрей увидел пачку исписанных листков, фотографию и золотой крестик на цепочке.

На фото, наклеенном на большое паспарту с вензелями, сидел представительный пожилой человек в черной паре, крахмальной рубашке, с холеной расчесанной бородой, рядом дама в длинном платье, отделанном кружевами, сзади, чуть приобняв их, стояла девушка со странно знакомыми Андрею глазами.

Он заглянул в листки, это были письма с фронта какой-то Маше от какого-то Юры, помеченные 15-м годом. Почерк уверенный, беглый, описывалась военная жизнь, вспоминались мирные времена, их дом. Нормальные фронтовые письма. Но при чем здесь Дуня? Откуда это у нее? Почему он раньше, живя с ней и зная все углы и потайные места комнаты, ничего подобного не видел? Недоуменно похмыкав, повертев найденное в руках, Андрей решил отправиться к Мише.

Миша сидел за покрытым клеенкой столом, одетый в чистую фланелевую рубаху, и сосредоточенно разбирал соседский будильник. Его крупные толстопалые руки были способны ко всякой мелкой точной работе.

Андрей разложил на свободном пространстве стола свои находки, и Миша долго перебирал их, рассматривал фотографию, читал письма, осторожно подержал перед глазами двумя пальцами крестик, рассматривая его словно деталь от часов. Потом, тяжело вздохнув, сказал:

— Ну вот что, племянник. Разговор это такой, что без бутылки не пойдет. Сбегай ка в магазин.

Когда Андрей вернулся, стол был накрыт хотя и похолостяцки, но чисто, умело — соленые огурцы, квашеная капуста, ровно порезанная и обложенная колечками лука селедка

с холодной картошкой, стояли толстые граненые бокальчики. Приняли по первой, и Миша снова вздохнул.

— Ты ведь в Олсуфьеве, в деревне, откуда мы с Дуней родом, бывал, когда в нашей-то области работал...

— Вроде бывал, да все деревни не упомнишь.

— Эту-то надо было бы тебе помнить.

— Ты давай к делу.

— А я к делу. Так вот... Там на отлете, за деревней, у пруда, где сейчас скотный двор, стоял когда-то дом помещичий. Жили там господа Олсуфьевы. Они и есть на этой фотке. Я их, конечно, плохо помню, пацаном был, но узнать все же могу. После гражданской войны старики померли, а дочка осталась, учительницей в нашей школе работала. Когда в колхозы загонять стали, дом решили под клуб забрать, да потом спалили его по неосторожности, знаешь, мужики вечно с сигарками сидят, да и бросают их не знамо куда, не у себя ж в избе. А учительница у Дуни нашей поселилась, благо, она одна в избе жила. Я в городе был, а родители наши, царствие им небесное, тоже преставились. Так что они с Дуней как сестры жили. Да только ее в 31-м, что ли, как помещицу, вредный элемент, арестовали, и так она, похоже, и сгинула. Да это еще не вся беда. К Дуне-то она переселилась брюхатая. И перед самым арестом ребеночка родила. Этот ребеночек и есть ты.

Миша замолчал, разлил водку. Выпили. В наступившей тишине слышен был далекий паровозный гудок на станции. Миша взял фотографию.

— Вот она какая была, вроде бы есть с тобой сходство, глаза особенно. Только она чернявая, а ты у нас рыжеватый, да и скуластый, и кость у тебя широкая.

— Кто же отец был?

— Этого я не знаю. Дуня сказывала, какие-то люди к ней, еще когда она в своем доме жила, приходили и даже останавливались. Были и мужчины, мало ли от кого понести могла. Письма-то эти от Юры еще 15-го года, может это ее жених, а так-то с чего бы это ему ей писать, может, он и уцелел, а, может, сгинул, до тридцатого-то года, когда ты родился эвон сколько прошло. Видно, она все это Дуне оставила. Та и хранила, пря-

тала где-то от тебя, может в сарайке закопала. Не хотела, чтоб ты знал, что не ее ты кровный... «Вот умру, говаривала, тогда и скажешь. А пока жива, мой он». Бабы-то ей в деревне советовали: «Отдай в дом воспитательный. Куда тебе, девка, с ребенком». Не захотела. Больше того, я так думаю, что и из деревни ушла, чтоб никто не знал, что не ее ребенок. В городе выправили ей документ, записали тебя на нашу талановскую фамилию и стал ты рабоче-крестьянского происхождения. И крестик-то она с тебя сняла. Одно дело — откуда у крестьянского ребенка золотой крестик, а другое — за религию тогда преследовали. Думала легче тебе станет жить будто бы некрещеному. Такая вот история. Так что можешь теперь их фамилию олсуфьевскую брать. А по мне так лучше бы Талановым тебе оставаться. Наш ты как был так и есть. Дуня тебя воспитала. Ее сыном тебе и оставаться. Ну да это дело твое. Давай ка, выпьем, парень.

Больше они в тот день к этой истории не возвращались. Андрей ни о чем не спрашивал, а Миша — при всей своей внешней простоватости мужик тактичный — ни слова не говорил. Более того, когда Андрей дня на три залег у себя на тюфяке, упершись глазами в низкие балки потолка, где каждый завиток древесины с детства ему был знаком, Миша к нему не заходил.

Конечно, он не собирался менять ни фамилию, ни вообще ничего в своей жизни. Только крестик одел сразу. Крохотный, на тонкой цепочке, он был почти невесом и терялся на его просторной груди. Но тут же и случилось диковинное, такое, что если б кто рассказал, ни за что бы не поверил. Ему приснился Христос. Да как!

Будто бы едет он, Андрей, на грузовой машине в кабине с шофером и обернувшись видит через заднее стекло кабины сидящего в кузове человека в брезентовом плаще без шапки. Он сидит сгорбившись на полу кузова, обняв колени, длинные пыльные волосы, низко свесившись, закрывают лицо. И Андрей знает, что это Христос. Некоторое время спустя он снова оборачивается, но кузов пуст. И потом машина исчезает, а он видит, как Христос идет по узкой затравеневшей тропинке,

спускается в овраг, переходит через ручей, поднимается на голый глинистый бугор и входит в деревню.

Он входит в новый дом, где в комнате сидит женщина с лицом Анны, хозяйки, у которой Андрей жил в последний свой полевой сезон. Анна сидит за столом, подперев щеки ладонями, а напротив нее Иван, ее муж. Перед ним бутылка, и он говорит что-то пьяное, нескладное. Анна ничуть не удивляется Христу, так как он похож на обыкновенного странника. Она наливает ему молока, дает хлеба. И Бог, поев, ложится в сених на старой скрипучей кровати.

Проснувшись, Андрей долго курил, поражаясь, как такое могло ему привидеться, распутывая путаницу реальных образов и подспудных, таящихся в глубинах сознания мыслей, что сплотившись рождают эту фантазмагорию. Крестик, крещение, Христос, Анна, обыкновенная в его полевой жизни езда на машине и попутчики, всякие случайные люди, которые вечно просятся в кузов — могло все это переплестись и дать такой чудной сон.

И все же почему этот бродяга с пыльными волосами привиделся ему Христом? Не было же в нем веры в Бога и все, что может быть после жизни представлялось ему как черное Ничто. Крестик одел, повинувшись безотчетному чувству родства с той, кто родила его, с этими людьми, кто были на фотографии. Их кровь текла в нем. А что это — кровь? То что в анализах — лейкоциты-тромбоциты?

Два голоса звучали в нем. Один иронично равнодушный: ну, родила его учительница, помещичья дочь, что меняет это в его судьбе слободского парня, бродяги-геодезиста со склонностью к запоям? Что общего у него с этим осанистым стариком, его женой и дочерью, о жизни которых он мог знать только по книгам?

Другой же голос томил и мучил, заставляя вглядываться в себя, искать свою особливость, припоминать ту полосу отчуждения, которая иногда возникала вокруг него в студенческой общаге, те недоуменно любопытствующие взгляды, которые бросали на него, «дунькина щенка», Зинка с Полинкой?

А может, они знали? Нет, вряд ли. Если кто и знал так это

Феша. Феша была из той же деревни, единственная дунина подруга. Она работала трамвайной стрелочницей. И походы к ней остались у Андрея самым ярким и, пожалуй, первым воспоминанием детства.

По выходным, которые тогда у Дуни выпадали не обязательно на воскресенье, она брала Андрея за руку, а когда уставал волокла на себе, и отправлялись они из слободы в центр города навестить Фешу. Ее рабочее место было в середине площади на пересечении трамвайных путей. Здесь стояла крохотная будочка, где хранился железный инструмент, а рядом — высокий винтовой табурет.

Бабы пускались в оживленный разговор, который, казалось, поглощал их, но Феша, плотная, высокая, повязанная красной косынкой, стояла лицом к Андрею, сидевшему на табурете, и он все время ловил ее ласково внимательный и, пожалуй, пытливый взор. Знала, конечно, знала...

Но это он теперь припоминал, как смотрела на него Феша. А тогда, сидя на площади на высоком, круглом, вертящемся табурете, чувствовал себя центром этого звенящего трамваями, гудящего автомобильными клаксонами, опутанного проводами и пересеченного рельсами мира. И небо — высокое, налитое светом, и воздух насыщенный звуками и звонами дня — все рождало в нем первый восторг бытия. Он кричал, дудел, махал руками, пускал слюни, а Феша ласково смотрела на него — «дунькина барчонка».

Сейчас ему казалось, что в душе есть некое пространство, где обитают образы людей, давших тебе жизнь или как-то наполнивших ее. Дуня была в этом пространстве, Дуня, простая как трава, наполняла его своей любовью.

Теперь там появилась эта учительница, тургеневская барышня, помещичья дочь — как смотрит она на него с фотографии, дед и бабка отстраненно, в пространство, а она прямо ему в глаза, взгляд серьезный, испытующий, спрашивает: «Признал ли ты меня, принял ли себе в душу?»

Как странно было думать, что между ним и этой девушкой, которая на фотографии много моложе, чем он теперь, лежит некий таинственный союз крови, что он произошел от нее.

Отлежавшись, Андрей поехал в Олсуфьево. Слез с попутки на большаке, долго плелся по промерзшему, в ледяных колдобинах и застывших комьях грязи проселку, вышел на окраину деревни, небольшой, тихой, курящейся печными дымами в этот полдневный зимний час.

Прошел мимо скотного двора с распахнутыми воротами, с острым запахом силоса, мимо покрытого льдом пруда. Вот здесь, на этом пространстве, заросшем мелкими продуваемыми ветром осинами, был дом его предков.

— Ну как там большевики распоряжаются в твоём поместье? — игриво спросил Миша по возвращении.

— Как повсюду, — сухо, не принимая шутки, ответил Андрей.

— А дом хар-роший был. Мезонин, крыльцо большое, сад яблоневого.

Об устройстве дома Андрей знал из писем Юры, который в окопной фронтовой грязи перебирал в памяти подробности довоенного бытия. Жарко горит над столом висячая лампа, отец шелестит газетой в кресле у самовара, балконная дверь в ночной сад... Юра цеплялся за этот остров воспоминаний, но жизнь стягивала с него, окунала в кровь, грязь, боль. «Вчера на моих глазах при взрыве снаряда оторвало голову солдату. Меня Бог пока милует, ни один осколок не зацепил. Долго ли продолжится это везенье? Я вспомнил наше с тобой любимое блоковское: «Боль проходит понемногу, не на век она дана...» Как волновало нас описание смерти! «Ляг на смертный одр с улыбкой тихо грезить, замыкая круг последний бытия...» Какая музыка, какое благозвучие и гармония в этой смерти. Но я живу в мире диссонансов, дисгармонии, опрокинутых понятий. «Тихо грезить замыкая...» Люди умирают в криках, в нестерпимой боли, с распяленным страданием ртом, в крови, в дерьме... И вой снаряда, который слышишь, правда, когда уже пронесло. Меня бесит это благозвучие рифмованных слов, да и сами слова — грезы, бытие, одр. Господи, если я уцелею, то наверное буду другим. Каким? Не знаю. Но другим.»

Неужели он, Андрей, произошел от этого романтического студента, на которого нацепили погоны и бросили в котел войны? Впрочем, может он и не студент был. В одном из писем Юра

вспоминает, как трясется на крестьянской телеге по непролазной дороге под ноябрьским дождем, едучи из какого-то Знаменского в какое-то Успенское. «Всюду бедность, безразличие крестьян, мелкие чересполосные наделы. Как принести в этот Богом забытый мир современную цивилизацию?» Может, он агроном был или какой-либо общественный деятель? Все было неясно, загадочно — обломки чужих мыслей, подробности чьей-то жизни...

4

Все-таки найденное в сундучке изменило жизнь Андрея. Ему теперь почему-то не хотелось уезжать из города. К тому же появилась Катя. Собственно, Катя появилась давно. Они вместе учились в техникуме. И на полевой производственной практике вдвоем составляли отдельно действующее звено астрономов.

Увязав в телеге треногу, ящик с теодолитом и тощие рюкзаки, они передвигались на лошади от деревни к деревне, Андрей впереди с вожжами, Катя сзади, восседая на ящике.

На сельских околицах они находили обоженные столбы. Их врывали в землю другие студенты, прокладывавшие вдоль дороги геодезический ход на десятки километров. Дождавшись безоблачной ночи, Андрей ставил фонарик на одном столбе и возвращался по пыльной, смутно белеющей в темноте дороге, к другому. Там уже хлопотала у теодолита Катя, расставляя треногу, центрируя точный массивный прибор. Надо было найти в окуляре Полярную, сориентировавшись сперва по Марсу.

Небольшая неяркая Полярная входила в поле зрения трубы, проплывая сквозь скрещение визирных нитей в миг, фиксируемый на большом медном секундомере. Затем труба направлялась на лампочку фонарика, зыбко мерцавшую в лесной тьме. Угол между двумя светящимися точками — небесной и земной — и позволял проверять точность прокладки хода студенческой бригадой.

Это была, что называется, непыльная работа. Малейшее ненастье, просто заволокло облаками небо скрывало от них Полярную, заставляло оставаться дома, днями бездельно жить

в какой-нибудь недалёкой от сельской околицы избе. Андрей обычно читал, пачками набирая книги в районных библиотеках, а Катя вязала или слушала любимые пластинки (патефон она возила с собой) — «Чико Чико», «О, голубка моя», «Брызги шампанского»...

Коренастая, толстоморденькая, румяная, она сидела у окна, подперев щеку кулаком, склонив голову набок и подпевая: «Чико Чико из Порто-Рико, на земле такого парня поищи ка. Он девчонку не обидит, а измены и коварство ненавидит». Когда этот Чико уж очень доставал Андрея, он уходил на сеновал и засыпал, лежа на сухом пахучем сене под умиротворяющую капель дождя, стучавшего по крыше сарая.

Сколько иронических подмигиваний и язвительных улыбок вызывало в студенческой бригаде это их автономное семейное существование. «Спать-то вам тепло?» — с ухмылкой спрашивал Андрея кто-нибудь из парней. Но на самом деле ничего не было, кроме робких поцелуев. Катя блюла себя, да и Андрей по юношеской невинности не проявлял особой настойчивости и искусственности в любовных играх.

Теперь, встретив Катю на улице, он с трудом узнал ее, так изменилась она за эти десять лет — выхолилась, вытянулась (куда-то пропала коротконовость), похудела, построилась, стала ладной, в расцвете лет женщиной, умело одетой и подкрашенной.

После техникума она, бросив геодезию, окончила в Москве историко-архивный институт, неудачно и бездетно побывала замужем, зато удачно работала в областном партархиве, занимая там какую-то не совсем малую должность.

Встретились они тепло, с умилением повспоминали юность, их романтические скитания, поиск звезд на блеклом ночном небе, переправы через лесные ручьи — как давно это было... Решили не теряться, повидаться, и действительно повидались раз, другой.

А дальше все пошло по накату — оба свободны, молоды да и прошлое сближало. Сошлись быстро, легко. Пожили сначала так, а потом Андрей перебрался в катину однокомнатную квартиру. Она же, пользуясь какими-то своими связями, помог-

ла ему устроиться на спокойную оседлую работу — инженером в управление землеустройства.

Если бы раньше ему сказали, что он променяет свою вольную полевую жизнь на чиновничье существование, ни за что не поверил бы. С пачкой аэроснимков, со всем геодезическим прикладом и картой, где обозначены границы района, в котором ему предстоит до глубокой осени «княжить и володеть», выехал он в апреле в первую свою деревню.

В раннюю рань, дохлебав щи, и, засовывая в полевую сумку бутылку молока с лепешкой, услышать скрип подъезжающей подводки, уладить в сене теодолитный ящик, вспрыгнуть на край телеги и ощутить, как плывет под тобой укатанный проселок — и так изо дня в день. До вечера, до поздних летних сумерек топтать в пыльных сапогах и пропотевшей спецовке через поля и овраги, вонзая то в сухой песок, то в затравневший суглинок острия треноги, склоняясь к трубе, а потом следить, как змейкой вьется в стерне и траве мерная лента.

Он легко и привычно гнал свой нескончаемый теодолитный ход, пьянствовал с председателями, крутил короткие романы с одинокими учительницами и фельдшерицами, чувствуя себя вольной птицей, уверенным, знающим свое дело и отвечающим за него человеком. И вот в одночасье стал чиновником.

Серым утром влиться в толпу, что устремляется к центру города, ко всем его комитетам и управлениям. Сесть за стол, полистать бумаги, ответить на первые звонки, а потом и самому накручивать диск, собирать сводки по районам и с папочкой, с папочкой подмышкой — на доклад. Отсоветавшись, размять папиросу на лестничной клетке, где дым столбом от табака и от областных сплетен — кого сняли, что сказал первый... Вот теперь его жизнь.

И ведь притерпелся, привык, стал неотличим в этой толпе, на этой лестнице разве что попервоначалу, со свежака позволял себе удивиться окружавшему его двоемыслию, когда на перекуре или за рюмкой -вроде бы и здравый смысл, и искреннее народолюбие, и тонкое понимание того, как надо, но порог кабинета переступает совсем другой человек, для которого есть

только один закон — Высшая воля. И напослани Андрей, что он и делал сначала по своему простодействию и некоторому юродству, — не по уму ведь так, ответят: «Ты что, глупый? Знаешь ведь, откуда указание. Мы-то кто?»

Мы-то кто, а они-то кто? И так до самого верха, где экспансивный, приземистый, похожий на деревенскую бабу старик то стучал башмаком по трибуне, то сливал и разливал подчиненный ему аппарат, то степенел при виде абстрактной живописи, то назначал близкие сроки прихода коммунизма, будто не старик это вовсе, а воплощенное в человеческом облике колесо истории, жестко и страшно катящееся по людям. Не приведи Господь попасть под него.

Андрей уже работал в управлении, когда этому властительному старику вздумалось приехать в область. Никакими словами не передать того страха и напряжения, той потемкинской истерии, в которую ввел город его визит.

Из всей мифотворческой пелены, что впоследствии окутала это событие, Андрею запомнилась история, услышанная от одного местного начальника, сопровождавшего старика в поездке по области.

Где-то на лесной опушке, в летнем холодке устроили обед и даже привезли к нему с юга ранние арбузы. Старик, спекшийся в целодневной жаркой поездке, в ходьбе по полям, где он привычно учил местных начальников выращивать кукурузу, сидел за накрытым столом, жадно вгрызаясь в огромный арбузный ломоть, держа его обеими руками. И в этот момент на его лысую, обрамленную седым пухом голову села муха. Она ползала по лысине, а старик, увлеченный поеданием сочной арбузной мякоти, ерзал кожей затылка, слегка запрокидывал голову, не понимая, что его там щекочет.

И тут рассказчик, стоявший непосредственно за царственным затылком, забывшись на минуту, потянулся уж было рукой отогнать зловерное летучее существо. Но во время остановился, покрывшись испариной острого испуга. Его рука, протянутая к этой голове, вызвала бы мгновенную реакцию охраны. Схватили бы, заломили руки, выбросили из вельможной толпы, а могли бы, не разобравшись, и пристрелить.

Переведа дух, он продолжал смотреть, как не тревожимая никем муха заканчивала свой путь по голове старика, сознавая, что жизнь его сейчас висела на волоске.

Из глубины нищей своей старости вспоминал он сытое и спокойное существование тех лет. И в самом деле на первых порах жили они с Катей пристойно и благополучно. Зарплаты были небольшие, но имелся приварок. У Кати — паек (ее архив относился к областным партийным учреждениям) — раз в неделю выкупаемые в спецмагазине дефицитные продукты.

Андрей же привозил из командировок в колхозы, куда ездил с контрольными функциями, даровые харчи. Так уж полагалось: всякому проверяльщику совали в машину кусок мяса, завернутый в испятнанный кровью пакет, пару кур или окорок. Андрей сначала стыдился, пытался отмахиваться, а потом привык — все брали этот оброк.

Готовили они оба умело и вкусно. Пища была жирная, мясная — борщи, пельмени, блины, увесистые отбивные с жареной картошкой. Картошку он жарил сам, с детства рука набита, ровно и тонко нарезал, хрустко зарумянивал в подсолнечном масле. Но это в детстве — на подсолнечном, сейчас-то шло топлёное.

Хорошо выпивалось под такую еду. Пил он теперь по-другому, не как раньше в мрачном одиночестве под луковицу или огурец, в пронзительных, уводящих в астрал мыслях, теперь же млело и томилось, в сладкий сон уходило тело. И спалось крепко на просторной чешской тахте.

Сладки были и их любовные игры. И хоть рожать Катя не могла после аборта в первом браке, это их не печалило, а наоборот делало свободнее в любви. В гости ходили, у себя принимали. Подгуляв, подпив, песни пели в душевном воспарении — «Куда бежишь тропинка милая...», «Зачем вы, девочки, красивых любите», «Отвори потихоньку калитку...»

Эту последнюю кто-нибудь поголосистее исполнял соло, также как и любимую андрею «А как выйдешь большая, отдадут тебя замуж. Во сторонку глухую, во деревню чужую...» Печалью заброшенных деревень отдавалась песня в хмельной душе.

Серые избы с прохладными в летний день сенями и душноватыми горницами, косноязычные старухи и заходящиеся в надсадном махорочном кашле старики, пойло для поросенка и с натугой поднимаемыми ухватом черные чугуны, обессиляющая тоска и животное тепло бытия. Время останавливалось в бесконечном тягучем вымирании, на этих мокрых ветлах, вороньем грае, размытых глинистых поселках.

Дружили они с такими же средней руки чиновниками. Правда, Катя порой пыталась залучать в их компанию кого-нибудь рангом повыше — обкомовского инструктора или начальника какой-нибудь областной конторы — но не надолго. У тех был свой круг, все четко делилось по этажам в этом мире и перескочить в общении на другую орбиту, не сделав шага в карьере, было трудно. Катя не хотела с этим смириться, все мнилось ей, что через связи, через общение (вот ведь какие они оба ладные, доброжелательные, еще и молодые, что ж не дружить-то с ними) станут они оба на тот эскалатор, который повезет их на верхние этажи.

Ее первый муж был гитарный певун, потаскун, пустышка. И сначала она отдыхала с Андреем, умиляясь его надежности, интеллигентности. Это потом, годы спустя кричала: «Ну, чтоб с тобой было, если бы не я. Спился бы в своих деревнях, обожрался бы самогонки. Я ж тебя вытащила из того болота, на хорошее место пристроила, жить стал по-человечески».

Он и сам порой задумывался, как могла сложиться его жизнь, если б не встретила Катя. Спитесь он все-таки вряд ли бы спился. Скорее всего осел в каком-нибудь райцентре, в землеустроительной службе, женился бы и осел. И тот же мир был бы, разве что к земле поближе, этажом пониже. То же здание, на самом верху которого — Москва.

Но в Москву даже и Катю не тянуло, хотя и поучилась она там пять лет в институте — суетно, холодно, потерянно. Здесь, в срединной областной империи хотела она добиваться своего и не сразу разглядела, что Андрей ей в этом не в помощь. Она уж и так и сяк, как пелось в ее любимой песенке «Я тебя слепила из того что было», пыталась лепить его по своему пред-

ставлению о мужчине, куда входили не только ум (в уме-то она не могла ему отказать), но и честолюбие, хваткость, контактность. Но не лепилось. Первые признаки разочарования появились через пару лет, когда она со вздохом сказала: «Давай тебе ружье купим. Может, на охоту начнешь ходить?».

Охота считалась самым почтенным занятием в иерархии отдохновительных развлечений чиновного люда. Начиная с первых лиц государства, стрелявших в специально гонимых зверей между двумя рюмками коньяку с хорошо оборудованных вышек заказников, и до секретарей райкомов, умелых ушлых мужиков, в высоких сапогах бредущих с ружьями наперевес по зимнему лесу — все предавались этому здоровому мужскому занятию и не в одиночку, разумеется, а в хорошей компании. Это же не просто убийство зверя, а общение с себе подобными вдали от тягот и стрессов обычной жизни, на природе и в винном воспарении души. «Поехали на охоту. — А я не умею. — А чего там уметь: наливай да пей».

Но не хотел Андрей пользоваться этим пропуском в среду. Свои у него были радости, все глубже погружался он в отечественную историю. Раздобыл у букинистов и выстроил рядами на полках Карамзина, Соловьева, Ключевского. И не только классики, не только масштаб государства российского — местные исторические труды, то, что называлось в тогдашнем речевом обиходе краеведением, стали его страстью и вечерней отрадой.

В служебных поездках по области он не только посещал местные музеи и архивы, но и знакомился с районными краеведами — сельскими учителями, журналистами, инструкторами. Сбивались они по случаю областного гостя в компанию, сумбурно выливали друг на друга всякие выкопанные ими исторические байки, радуясь случаю показать эрудицию, нарушить этими цветистыми рассказами скуку и монотонность жизни.

Постепенно формировался его образ в глазах окружающих. Уже не бродяги и выпивохи-геодезиста, а вполне добропорядочного и послушного городского чиновника с культурными запросами, несколько чудаковатого провинциального интеллигента, бескорыстного знатока местных древностей, из тех, что всегда наличествуют в каждом русском городе.

Как ни странно, эти его краеведческие страсти не сближали их с Катей, профессиональным архивистом, а наоборот как-то даже разъединяли. Для нее история была работой — документооборотом, единицами хранения, скучным трудом, и эти его воспарения души раздражали ее, виделись блажью, уводящей от нормальных мужских дел и развлечений.

Один только раз он ощутил ее интерес к себе, когда рассказал о найденном в Дунином сундучке. Почему-то он раньше об этом не говорил. А тут пришлось к слову, о Дуне, о Мише повспоминал и заодно выложил всю историю.

Их отношения к этому времени были на грани разрыва. Они почти не общались, жили отчужденно, как надоевшие друг другу соседи. Здесь же она как-то заново и несколько недоуменно рассматривала Андрея (что он, впрочем, отнес за счет всеобщего тогдашнего патриотического интереса к дворянству, национальным корням), подробно расспросила о Маше, где и как жила, когда родила, кое что записала, но больше на эту тему разговора не вели.

5

В сентябре Катя собралась в отпуск. Провожать себя не разрешила. Ее ждал в машине кто-то из ее новых влиятельных друзей, ехавших в тот же санаторий (может любовник, Андрей не допытывался) и даже чемодан не дала снести. После обычных напутствий — «Не забывай выключать свет в ванной, не кури в постели — сожжешь квартиру» — сказала с какой-то неопределенной усмешкой: «Я тут кое-что из архива принесла. Подарок тебе, чтоб не скучал. Посмотри, в шкафу моем лежит». Прощальный поцелуй. Щелкнул замок. Простучали ее каблуки по лестнице.

Чувствуя в груди холодок какого-то предчувствия, он не сразу взялся за эти папки, только вынул из шкафа и положил на стол. Походил по комнате, выпил рюмку, заранее успокаивая себя и наконец присел к столу, неловкими пальцами развязывая тесемки.

«По имеющимся в областной контрольной комиссии све-

дениям известно, что 10 ноября 1928 года в 12 часов в канцелярию Старосельского РИКа в пьяном виде явился секретарь райгруппкома совторгслужащих Мозгалев Серафим Григорьевич — член ВКП (б). Он ворвался в финчасть, где счетовод РИК Титяев работал на пишущей машинке, выхватил из машинки печатный лист и порвал, с нецензурным ругательством ударил кулаком два раза по каретке пишущей машинки настолько сильно, что машинка больше не работает, Работа в РИКе стала, так как в связи с бездорожьем ее отвезти в город для ремонта не могли...»

Впоследствии неделями сидя над этими документами, заботливо подобранными и скопированными Катей (для чего — в первый час он еще не понимал), Андрей часто вспоминал молодецкий удар Серафима Мозгалева по каретке пишущей машинки, который был как звук гонга на сцене, как сигнал к началу действия, открывавшего картины жизни его родного Старосельского района в конце двадцатых годов. Эта жизнь впервые разворачивалась перед ним в ту ночь в чтении различных доносов и протоколов, писем и заявлений, которые полвека пролежали в партийном архиве.

Главными героями были местные коммунисты — всего-то их насчитывалось тогда 70 человек на весь район — по одному на две-три деревни, но все при должностях, при портфелях, и чего только не числилось за каждым. Кто, будучи милиционером, брал взятки у самогонщиков, кто в качестве судебного исполнителя задерживал деньги, взысканные по приговорам, а на председателе сельсовета Буренкове лежало пятно — «гонялся за евреем». Выпивал как-то Буренков с приятелем, а мимо по сообщению комсомольца Балясникова «идет Еврей». Так и пишет Балясников это слово с большой буквы. «Тогда Еврей сказал: «Вот так председатель допускает до того, что не может стоять на ногах». Тогда Буренков пустился за ним, хотел его побить, а Еврей убежал в хату. Тогда Буренков взял со злости бросил почту с папкой под ноги, начал топтать...»

Подобного рода буколические сюжеты повторялись и фамилии мелькали одни те же, только должности менялись, пропился, проворовался — не председателем совета будешь,

а финагентом, на понижение пойдешь. Все это Андрею было до зубной боли знакомо по несколько более изощренным нравам современной ему номенклатуры и уж во всяком случае не вызывало того краеведческого интереса, с которым он выяснял: располагалась ли в селе Закобякино ставка хана Кобьяка или при каких обстоятельствах был сослан в город Любим магистр Ливонского ордена. Тем не менее он внимательно читал документ за документом, отслеживая события и судьбы людей.

Тот же Мозгалева после удара кулаком по машинке затеял пьяную драку с судебным исполнителем Антоненко за что по совокупности получил выговор и попал на другую работу — уполномоченным по заготовкам. Но вот его фамилия появилась снова в жалобе Насти Осиповой на попытку Мозгалева во время новогодней гулянки ее изнасиловать. «Я после стала говорить, — писала Настя в райком, — что не потерплю этого нахальства и передам в суд, но он сказал, пускай подает, только я ей загоню пулю в лоб. И кроме того, как я партиец, я судов не боюсь, сколько хотишь подавай». И дальше обухом в лоб Андрею, черным по белому: «А какой он есть человек все знают после того, как он летом учительницу Олсуфьеву изнасиловал и так вот пистолетом ей угрожал».

Переведа дух, он стал соображать. Похоже, что изнасилование было летом 29-го. А он родился в марте 30-го. Сходится. Дальнейшее Андрей читал, преодолевая тупую и неотвязную душевную боль, которая заполнила все его существо и тем не менее не мешала воспринимать и оценивать читаемое. Словно два человека поселились в нем. Один слышал крик распинаемой женщины, видел сцену соития, в результате которого он появился на свет, жил, чувствовал, думал, а другой — сопоставлял факты, понимал подтексты документов, как бы игнорируя всю грязь, жестокость и противоестественность происходящего.

Дальше шло оправдательное письмо самого Мозгалева: «Классовая линия была с моей стороны вполне выдержанная. Вся лишь моя вина, откровенно признавшись, это когда выпьешь водки... Но я не алкоголик, и если когда выпиваю, то лишь только по своей некультурности и несознательности».

Почерк неустойчивый, но вместе с тем с некой энергией в написании букв. Судя по всему, знает на что надо нажимать в своем покаянии. Перечисляет должности, на которых был: секретарь комсомольской ячейки, уполномоченный по батрачеству, секретарь райгруппкома союза совторгслужащих...

«Работать пришлось много, и все бесплатно. Меня тяжело ранили ножом в спину бандиты, пролежал в больнице 30 дней, выйдя из больницы, обратно пошел против банд. Приходилось ночами сидеть в карауле». И как будто подействовало, сошло с рук, так как имя его всплыло еще полгода спустя в материалах о раскулачивании. Областной уполномоченный Шацкий сообщал в обком о филантропических настроениях в тройке. «Но поддержал меня, — пишет Шацкий, — только уполномоченный Старосельского района Мозгалева».

Андрей хмыкнул, прикурил очередную сигарету: «Да-а, гуманист у меня был батя. Как же ему не поддерживать было этого людоеда, коли старые грехи висели на нем, их еще замазывать надо. Тут главное первым руку тянуть...»

Но больше имя его не появлялось нигде. Перевели ли куда, посадили впоследствии или на войне убили — все могло быть. Исчез и следа не оставил.

Эта архивная находка, как, впрочем и предыдущая, та, что сделана была в дунином сундучке, поставила точку в очередном этапе его жизни. От Кати он съехал, не дожидаясь ее возвращения с курорта, в дунину комнату, что так и числилась за ним.

Может, еще и потянулось бы их отчужденное сожительство, но уж так задело его — нет, не само ее архивное изыскание, а то как она подала результаты его: «Тут я подарок тебе приготовила, чтобы не скучал...» И угадывалось за этим стервозно-ироничное: «Дворянин ты запьянцовский... От деревенского пьянчуги, бандюги сельского ты произошел. Экие мы помещики благородные, читатели Блока... Убийца и насильник твой отец, обнаглевший от безнаказанности: «Я судов не боюсь, сколько хотишь подавай»...

Возможно, не думала так Катя, просто по-бабьи позлорад-

ствовала, но он-то, он-то слезами обливаясь над этими проклятыми бумагами, муку и тоску свою на ней в мыслях своих вымещал. И раздевшись догола в ту сентябрьскую ночь, когда сделано было это открытие, стоя перед большим гардеробным зеркалом, сквозь застилавшие глаза слезы рассматривал свое уже оплывающее тело сорокалетнего человека, пытаюсь угадать в коренастости фигуры, в тяжелых длинных руках, в рыжеватых волосах на груди черты облика того, кто дал ему жизнь.

Но постепенно все улеглось, успокоилось, ушло в глубины души, где складывалось многое.

Снова жил он в слободе. Из старых обитателей флигеля к его возвращению оставалась одна Тонька. Андрей помнил ее молодой кобылкой, трахавшейся в сенях со слободскими парнями. В углу, на топчане, куда сваливали всякую ветошь, ворочался сопящий, стонущий комок плоти. Поздно возвращаясь из вечерней школы, он осторожно нащупывал ручку двери и из темноты доносился яростный, надсадный мужской голос: «Чего стал, сучонок, пошел, пошел...»

Теперь Тонька, тощая старуха-уборщица, собирала бутылки у вокзала, за день набирала сумку, на портвейн хватало. Ее мать баба Шура умерла. Умирала, по рассказу Тоньки, трудно, долго, в беспомощности. За несколько дней перед смертью виделись ей родители, разговаривала с ними. В чем-то каялась, о чем-то просила жалобно. И Тонька поняла: все, конец, отходит, с родителями соединяется.

Обкатывая в памяти этот рассказ, Андрей, лежа в бессонной стылгой ночи, думал о том, с кем он-то будет разговаривать в смертном бреду, с кем соединиться, неужто с Мозгалевым? Это он ему скажет: «Что стал, сучонок, пошел, пошел...» И он пойдет из жизни.

Бессоницы стали частыми. Он подолгу лежал в постели в надежде, что задремлет. Вставал, ходил по комнате. Из форточки пахло весной. Голые ветки мотались на сыром ветру, отблески фонаря на мостовой... В многоэтажном доме напротив, одном из новых домов, что вплотную придвинулись к фли-

гелю, в темной безглазой стене горит одно окно. Тоже кто-то не спит. Может стоит, прижавшись лбом к стеклу, также мучается от ночных мыслей?

Флигель предназначался на снос, и Андрею полагалось какое-нибудь жилье в современном доме. Как одиночке ему светила комната в коммуналке, чего никак не хотелось после жизни в катинной отдельной квартире. И тогда он принял предложение переходить в облисполком инспектором общего отдела. Работа муторная, в основном, с жалобами трудящихся, но дававшая возможность получить однокомнатную квартиру. Вскороности он переехал в центр города, в хороший кирпичный дом, откуда его теперь вынесут разве что ногами вперед. Так и вступил он в предпоследнюю полосу своего существования, если последней считать нынешнее его пенсионерское житье.

6

Жизнь все больше опрокидывалась в прошлое, которое и мучало, и манило, и жгло неразгаданными тайнами. Превозмогая себя, позвонил Кате, попросил поискать в архиве, может быть еще какое-нибудь упоминание фамилии найдется. Через неделю получил по почте копию описи имущества вдовы Ульяны Мозгалевой и трех ее взрослых детей — двух сыновей и дочери (имена детей не указывались) из деревни Снегири.

Комиссия сельсовета, сделавшая опись, отнесла это хозяйство к середняцкому. Из скота они имели старую двадцатилетнюю лошадь с жеребенком, корову с телкой, поросенка и четырех ягнят. Из инвентаря: конную косилку, сломанную ручную льномялку, однолемешный деревянный плуг, две бороны, двое саней, телегу и тележку.

Андрей долго сидел над этим списком, перебирая в уме, словно обкатывая каждый предмет, каждую животину, представляя себе какого каторжного труда требовало ведение этого хозяйства — одна плужная пахота чего стоила. Можно было понять Серафима, стремившегося любыми способами избавиться от такой каторги.

Впрочем, его ли это семья? Могли быть и однофамильцы, наконец, родственники. Приходится ли Андрею бабкой эта вдовая Ульяна со своей старой кобылой и сломанной льномялкой?

Поехать в деревню Снегири (название какое-то знакомое, с чем-то связанное), может, кто чего там помнит? Уже по пути, в автобусе сообразил, чем знакомо ему это название.

Вспомнился весенний десятилетней давности день, как ехал он беззаботно по районному грейдеру, подсыхающему, затвердевшему, и все кругом парило, сияло в солнечном свете — поля, дорога, купы деревьев в отдалении.

Водитель съехал на обочину, подкачать колесо и Андрей, выйдя размяться, обратил внимание на группу празднично одетых пожилых людей, расположившихся выпить-закусить под одинокой березой на выгоне, неподалеку от дороги.

— Что-то место какое-то неурядное. Чего это пить в чистом поле? — недоуменно заметил Андрей.

— Для них это место самое то, — ответил шофер, отрываясь от колеса. — Была здесь деревня Снегири. Да исчезла. Вот они и приезжают раз в году помянуть прошлую жизнь.

— А-а, да-да, как это я не сообразил, — равнодушно покивал головой Андрей, залезая в машину.

Тогда это бывало часто, потом же эти поминки стали редкостью. Старики вымирали, молодым была чужда такого рода ностальгия. Но сейчас, едучи в автобусе по зимнему шоссе, Андрей с тоской вспоминал тот давний день, и березу, и выгон с пожухлой прошлогодней травой, и тех людей.

С отчетливой острой ясностью виделся ему старик в черном выходном костюме и белой рубашке, сидевший поджав ноги на расстеленной пленке со стаканом в руке, и старуха в бордовом платье с цветастой шалью резала на тарелке колбасу. Может они сидели на том месте, где стоял родной дом? Этот дом плыл в памяти тех людей, осеняя их головы. И другие дома плыли в солнечном, прогретом воздухе, колеблемые ветром времени, как миражи в пустыне.

Снегири исчезли, ушли в придорожную землю, на которой изредка поминали свою деревню ее последние обитатели. Но Ол-

суфьево жило — тихое, стариковское, закутанное в одеяло снегов, с запущенными яблоневыми садами, с полуразвалившейся фермой. И Андрей постоянно ощущал его существование, помнил о нем, как помнят о беде, болезни, даже не думая о ней.

Время от времени он отправлялся туда. С вечера снаряжал рюкзак — клал консервы, колбасу, пару бутылок водки и субботним утром садился в первую электричку, а потом — в автобус и еще пару километров — пешком, в сторону от большака. Стучался в один и тот же старушечий дом, отдавал припасы и устраивался на лавке у придвинутого к окну стола. Медленно пил рюмку за рюмкой, неподвижно сидел, подперев голову рукой, ощущая как за окном сгущается непроглядная деревенская тьма и такая отъединенность от мира настает будто ты у Бога за пазухой.

Что виделось ему, о чем думалось в этом бесконечном глухом сидении за рюмкой, что снилось, когда, бросив под голову опустевший рюкзак, он засыпал тут же, на лавке?

Пустой барский дом, что стоял в километре отсюда, там, где трепещет сейчас на зимнем ветру нагой осинник. Июльская ночь (сколько раз прикидывал, когда это могло быть, отсчитывал назад от своего дня рождения, от марта 30-го девять месяцев, получался июль 29-го). Окна темные. Всего того, о чем писал Юра — висячая лампа над самоваром, отец, шелестящий газетой, балконная дверь в ночной сад — давно нет. Дом пустой, стылый, в одной комнате живет 35-летняя учительница (на фото предвоенном ей лет двадцать, стало быть, в 29-м уж наверное за тридцать). Тоскует, тревожится. Непонятное, страшное наползает — газетные истерики, мужицкие слухи... Одна в целом свете. Деревня чужая, враждебная, никто не поможет, не защитит. И как он врывался, стучал ли, дверь ломал, рот зажимал, уж, конечно, пьяный был. Пистолетом грозил. Они ведь, сукины дети, партейцы эти деревенские, любили играть оружием, соседей пугали, в белый свет палили пьяными. О, господи, лучше бы не читать ему тех архивных бумаг!

Так ведь не только эти бумаги в памяти. Все, что можно было отыскать в библиотеках, в других архивах о том времени — мемуары, старые газеты, указы, рассказы очевидцев,

(хотя и мало их было, доколхозная жизнь ушла в небытие, заволокло ее временем, как Атлантиду водой) — все читалось, изучалось, и теперь жгло душу, воспаляло хмельные мысли вереницей картин и образов, так или иначе связанных с историей его зачатия.

Откуда они выскочили на поверхность деревенского бытия, эти бесы, среди которых был и тот, кто дал ему жизнь? Кто их воспитывал, наставлял, обещал безнаказанность, натравливал на своих же крестьян? Воспитатели-то откуда взялись на пустом вроде месте?

Не на пустом, ох, не на пустом. Ему ли, историку, пусть и любителю самодеятельному, но все же историку, не знать?

Если деревня выродила, выкинула мозгалевых, то другая часть его, андреева, естества — по материнской, дворянско-интеллигентской линии — свой выкидыш имела. Пока одни тешили себя народническими иллюзиями, другие — марксовым наследием, эти словно саблю точили — вжик, вжик... Власть, власть, власть! Все заботы, все мысли — о захвате власти. А что потом? Там разберемся. И как же жрали они друг друга потом! Как крысы в железной клетке. Пока не осталась одна — самая страшная, так что и взглянуть невозможно. Низкий лоб, черные волосы, медленная речь...

В веру бы уйти от этих мыслей. Но веры не было. Был всхлип.

Ясным апрельским днем, когда земля, освободившись от снега, подсыхала, и ярко, пахуче начинала зеленеть мелкая трава на выгонах, сидел он неподалеку от Олсуфьево на развалинах монастыря за бутылкой вместе с давним приятелем, сельским учителем-краеведом.

Толковали о конфликте, который вышел у святителя Геннадия (его именем был назван монастырь) с местным населением. Краевед отыскал старинную рукопись, из которой следовало, что святителя отсюда изгнали, и он заклил эти земли, пожелал крестьянам быть ни бедными, ни богатыми, ни сытыми, ни голодными.

— Ты, подумай, как точно, — говорил Андрей, вытряхивая из бутылки последние капли. — Ни бедными, ни богатыми...

Посмотри на эти чахлые хлеба, на вымирающие деревни, на пустые магазины. Вот оно это заклятье. Почему другие народы живут по-человечески, радуются жизни, ездят по миру? К нам недавно финнская делегация приезжала. Подумай, финны... В российскую же империю входили. И климат северный — снега, земли — камень да песок, а ведь как живут. Нам-то за что все это? Вся история на крови и страхе.

— Это ты прав, — вторил учитель, хмельно качая головой. — Одни названия деревень чего стоят. От Грозного еще сохранились. Починок Малютин. Считается, что там чинили карету Малюты Скуратова. Есть деревня Вешалка, есть Подошвенка — стало быть вешали — где за шею, где за ноги. Село Нелюдово. Татары жили — нелюди. Ты прав: все на крови.

— Чем провинились мы перед Господом? Эли, Эли! Лама савахвани?

— Это ты по-каковски?

— По-арамейски. Был такой язык и между прочим Христос на нем говорил. А значат эти слова: «Боже мой, Боже мой! Для чего ты меня оставил?» Это он на кресте возопил.

О вере говорили с Федосеем Петровым, которому Андрей завидовал мучительно. Цельности его завидовал, ясности духа, пониманию того, что для Андрея было так зыбко и непонятно.

— Есть вера в знание, в светлое будущее, доверие к авторитету, — говорил Федосей, мерно постукивая пальцем по столешнице. — Моя вера в живого Бога.

— В библейского Бога, в Христа и в святую Троицу?

— Да-да, в библейского Бога. Не в аристотелев перводвижитель, не в гегелев Мировой Дух, в Бога живого, создавшего мир, творящего чудеса, ошибающегося, гневающегося и радующегося, возлагающего на своего сына грехи мира и отправляющего его во искупление этих грехов на крест.

Разговоры с Федосом были отдушиной в жизни Андрея.

Когда-то они вместе работали в управлении землеустройства. Потом Федос неожиданно исчез. Отыскался же случайно. Андрей поехал собирать материал для справки о том, как идет аренда в животноводстве. На весь район, куда его по-

слали, были три арендаторских звена. В одном селе — трое угрюмых городских мужиков взяли свинарник и крепко жаловались на отсутствие техники. В другом — местная семья выбила себе из колхоза все, что надо, и гнала отличные привесы на откорме быков. В третьем — оказался Федос, о причинах исчезновения которого Андрей не знал да и вообще думать о нем забыл. Выяснилось же такое: кто-то увидел его в церкви, стукнул шефу, тот призвал к себе и по-доброму попросил уволиться по собственному желанию, веруй, мол, себе на здоровье, но товарищей побереги, зачем нам собрания, проработки, комиссии из обкома?

Федос не перечил, будучи одиноким, уехал в свое село, работал в колхозе, а потом выпросил в аренду откормочник в заброшенном однодворном хуторе.

Километров десять трясся Андрей на уазике по проселку, слава Богу, сухому в пору бабьего лета, пока добрался до этого хутора. У дома непривычно для крестьянского жилья цвели осенние цветы, поодаль виднелись ульи, в старом амбаре стояли быки. А хозяйина не было. И еще добрый час пришлось колесить по лесным полянам и луговинам пока Андрей не заметил висящую на дереве куртку. Вышел Федос из лесного прогала с косой на плече, распаренный, сухощавый, ясноглазый, хотя и сильно поседевший. Обнялись, расцеловались. Пришлось машину отпустить и оставаться на ночь. Задали корм быкам, помылись у колодца, сели за стол до утра и в тот же первый их вечер пошло:

— Как познать Бога?

— Его нельзя познать. В него можно верить или не верить. Вера противостоит разуму. «А все, что не по вере, грех» — сказал апостол Павел.

— Без знания нет действия.

— Это ты так понимаешь... А по мне вера рождает творчество. Авраам пошел, не зная, куда идет.

— Он шел в землю, в страну обетованную, в страну ему обещанную в наследие.

— Нет, он верил: куда он придет, там и будет земля обетованная. Он верил и значит у него была связь с Богом. Религиоз-

ная вера это связь с Богом, это непостижимая творческая сила, великий дар.

— А что есть Истина?

— Не может быть никакой Истины, кроме сотворенной Им. Надо не умствовать, а воспринимать Священное Писание буквально.

— Ты отрицаешь всякую религиозную мысль?

— Нет, только буквальное восприятие Писания наполняет религиозную мысль содержанием, если только ты исходишь из собственного духовного опыта. Сердцем воспринимаешь Откровение.

— Но посмотри, как часто Бог в Библии меняет свое решение.

— Да, конечно, ведь он живой, думающий, ошибающийся. Бог может по слову верующего менять решение, и тем самым утверждает силу молитвы, право человека влиять на ход событий.

7

В Олсуфьеве постепенно привыкли к Андрею, к его тихому пьянству. У местных старух он даже вызывал умиление: вот ведь человек какой спокойный, сидит себе за бутылкой, никого не трогает, никому не перечит, да и хозяйке, Пелагее Сивковой от него польза, первое — что не так одиноко, а другое — колбасой городской подкормит. Пелагея жила голодно, не получая даже сорокарублевой колхозной пенсии, что имели ее соседки.

Огород на ее усадьбе был запущен, зарос бурьяном, видно, сил обрабатывать землю уже не было. Старуха почти не сходила с холодной печи, постанывая в дремоте, иногда сама с собой разговаривала, поминая давних обидчиков, перемалывая в полузабытьи прожитую жизнь.

Встретив как-то в облисполкомовской столовой председателя сельсовета, на территории которого располагалось Олсуфьево, Андрей спросил у него, почему Сивкова не получает пенсию?

— Да ведь сход деревенский был против. Говорят она в колхозе не вырабатывала обязательный минимум трудодней.

— Постой, — изумился Андрей. — Да разве так можно, она же с голоду помирает.

— Стало быть, можно.

И председатель рассказал, как уговаривал он старух, пожалеть Сивкову, а они совали ему в лицо скрученные, словно грабли, артритные руки, кричали, как в войну мучались на ферме, а Пелагея все норовила в город с ранней картошкой да луком улизнуть, так за что же ей теперь пенсия?

— Как же ей прожить? — спрашивал председатель.

— А как хочет. Только мы несогласные. Все работали, себя ломали, а она — нет.

— Ну, народ, — Андрей тоскливо сморщился, сжав щеки как при зубной боли. — Война вон когда кончилась, деревня почти что вымерла, ферма развалилась, а они все помнят ту обиду. И ведь на кого обижаются? Не на тех, кто довел деревню до ручки, а их обрек на нищую старость, а на свою же соседку, которая разве что хотела чуть получше жить. Получается, что эта несчастная Пелагея расплачивается за все беды деревни.

Определив Сивкову в дом для престарелых, Андрей начал останавливаться у бывшей председателиши колхоза Антонины Степановны. Эта была крута, грузна, на улицу выходила в тяжелом городском пальто, в новых чесанках, закутав голову в серый пуховый платок. Дома, в душной тесно заставленной комнате, увешанной ткаными рыночными коврами, часами могла неподвижно сидеть в байковом халате на никелированной кровати. Сидит, безмолвно поглядывая на Андрея, глаза исподлобья посверкивают.

Выпив стаканчик, начинала рассказывать истории из жизни местной районной знати, где конфликты чаще всего строились на хорошо известных Андрею заготовительных фокусах — купить у молокозавода масло и обратно сдать ему в счет плана поставок молока, купить в торговле картошку и обратно ей же продать в зачет плана. Это строжайше запрещалось, так как считалось припиской, обманом государства, но часто делалось для отчета перед начальством. При проверках те, кто вынуждали делать такие приписки, сразу же от всего отрекались

и безжалостно ломали жизни своих подчиненных, исключая их из партии, снимая с должностей.

Люди нередко не выдерживали крушения карьеры, умирали от инфарктов, от рака, иногда кончали жизнь самоубийством. И потому в рассказах Антонины истории с тоннами масла, молока и картошки, с коллизиями типа: «А меня на ковер вызывают...», «И тогда он говорит: «Партбилет положишь!» — приобретали характер эллинских трагедий с их категориями рока, судьбы, ощущением бренности бытия.

К ней и до сей поры обращались за советом, и она также хрипло и страстно, как рассказывала Андрею, говорила новичкам в деревенском начальствовании: «Слушай, уйди, заболел или уезжай куда-нибудь, чтобы только тебя не припутали».

В сознании Андрея эти председательские байки наслаивались на архивные документы двадцатых годов. Он представлял себе как когда-нибудь историк будет реконструировать нынешнее время по этим протоколам и доносам. Только как передашь ужас в глазах старухи и это ее хриплое, тихое: «Уйди, исчезни, уезжай...»

Антонина Степановна вскорости умерла. Пришлось Андрею искать другое пристанище.

На сей раз он выбрал хорошо выкрашенный, исправный, стоящий на отшибе дом. В сущности он пустовал. Хозяева — лет шестидесяти крепкая супружеская пара — жили в теплушке — тесной, грязной избе, выстроенной по соседству с домом. Они держали свиноматку, выращивали и продавали поросят, что требовало неусыпных забот.

В теплушке у печи оттаивала кормовая свекла. В закутах — корова, теленок, гуси, овцы. Каждый — в своем, пахнущим навозом и густым звериным запахом полутемном пространстве. В одном — царицей лежала пестрая супоросая матка.

«Здесь и спим. Дом нам ни к чему. На печке спим. И скотина рядом».

В деревне они считались богачами. На продаже поросят строился их капитал, который материализовался где-то под Москвой, где сын строил дачу.

«Нам и здесь неплохо», — сказала старуха. Они жили князьями во князьях в своем хлевном раю.

Этот хлевный рай грезились многим горожанам, о чем Андрей узнавал из писем, читаемых им в облисполкоме по долгу службы.

Словно дети, ищущие мамку, перебирались люди на село, чтобы уйти от холода жизни, уткнуться в родное корневое тепло. А мамка-то оказывалась мачехой. Отторгала их деревня, не принимала. И они ее не понимали. Один жаловался на семейственность: у директора совхоза жена — главбух. Другой требовал соблюдения трудового кодекса. У всех в мечтах была усадьба, сад-огород, большая семья, добрые соседи. А их встречало отчуждение, воровство, обшчеты, обман. «Холодно, странничек, холодно. Голодно, родименький, голодно».

Тот, который о трудовом кодексе писал, спрашивал: «Не пойму как она вообще-то деревня еще живет-существует?» Он кочегаром в колхозной котельной устроился и требовал, чтобы председатель предоставлял ему подменщика на то время, когда он на обед уходит, не оставлять же котлы без присмотра.

Председатель раз отмахнулся, мол, никогда у нас никаких подменщиков не было, да и чего тебе на обед ходить, возьми с собой из дому. Другой раз отмахнулся. Тот не отставал. Председатель его матюшком послал. А он — письмо в область: «Я из НИИ ушел подальше от лжи, и в село уехал, чтобы естественной чистой жизнью жить...»

Эта эманация идеализма была разлита вокруг, несмотря на свинцовую грубость жизни, и подмечалась Андреем в разных людях, на фоне которых тот же Федос с его верой куда трезвее и умнее воспринимал реальность.

К числу таких идеалистов Андрей относил и Горнфельда, председателя облисполкомовского садового товарищества, куда он вступил, повинувшись смутному страху грядущего голода, владевшему, похоже, не только им.

Как-то в командировке колхозный бригадир, которого Андрей допек своими расспросами о жизни да о том, к чему, по его мнению, все идет, зло сказал: «Знаете, чем все это кон-

чится? Будет как в гражданскую войну. Побегут люди из городов в деревню. Все менять станут на хлеб. А потом и работать на земле начнут. Жрать совсем нечего будет, вот и побегут».

В старости, кормясь, в основном, картошкой со своего участка, Андрей не раз вспоминал этого пророка из села Мыряево, благодаря судьбу за то, что она подсунула ему этот участок.

Горнфельда избрали председателем за связи (он работал в отделе строительства) и безотказность. Это был худющий еврей с запавшими щеками и глубокими черными глазами, по характеру типичный трудоголик из тех, кто первым приходит на службу и последним уходит. Любимой его присказкой было: «А вот при Ленине...»

Взялся за председательство он с энтузиазмом и, похоже, вознамерился создать эдакий образцовый коммунистический поселок — единообразные, сделанные по современным проектам домики, одновременный подвод коммуникаций, всяческие там зоны отдыха, детские площадки.

Он рисовал картинки, чертил планы, благо, сам по образованию был архитектор. На правлении развесил все это по стенам, ходил с указкой, рассказывал и показывал. Тертые исполкомовские мужики, горожане в первом поколении слушали его с неясной ухмылкой, но помалкивали.

А потом был первый коллективный выезд на еще неосвоенную территорию. И тут Горнфельд убедился, что перед ним отнюдь не жители будущего образцового поселка, а толпа жадных индивидуалистов, дорвавшихся каждый до своего клочка земли. С той же страстью, с какой он рассуждал о поселке будущего, они прорубали просеки в мелколесье, размечали участки, в то время как он толком не знал как топором забить кол.

А через пару дней на правлении — конфликт. Он — о дороге, электричестве, воде, а им — скорее бы землю поделить, получить свой клочок, чтобы посадить первую яблоню, разбить первую грядку. Бог с ним с электричеством, успеется, строиться надо. В отпуски, в выходные дни наперегонки колотили, тесали, строгаили, замешивали цемент.

«Торф с навозом бы завезти, — мечтательно говорил сосед Андрея. — Да его хоть на хлеб мажь. А если еще соломки до-

бавить... м-м-м...» Сладострастно замычал и пошел навстречу бульдозеру, который гнал к его забору вал прошлогодней гнилой соломы.

Андрею дом помогал ставить Федос, который оказался рукаст, хватист и охотно приезжал на субботу-воскресенье, оставив быков на попечение старухи-помощницы, жившей в соседней деревне.

Горнфельд, к тому времени покончивший со своими коммунальными планами и ушедший из председателей, в одиночку неумело соорудил себе сарайчик, чем-то вызывая интерес Федоса. Тот захаживал к нему, немного помогал, учил тесать доски, а вечерами зазывал на их с Андреем водочные застолья, хотя Горнфельд по болезни или по частому у евреев неприятию алкоголя почти не пил. Он вяло жевал, неохотно вступал в разговор, но улыбка, иногда освещавшая лицо, была тонкой и появлявшийся в глазах огонь выказывал тайную работу мысли, что еще больше позадоривало Федоса.

Будучи человеком библейски начитанным, он считал, что у евреев склонность к коммунистическим идеалам от нереализованного мессианизма. Горнфельд, судя по отдельным репликам, понимал глубину этой темы со всеми ее поворотами, но, опасаясь традиционных упреков евреев в подстрекательстве к революции и в активном участии в коллективизации и терроре 30-х годов, в спор не вступал.

Федос же в своем хуторском уединении начитался не только отцов церкви и религиозных философов, он и Столыпина внимательно изучал и, вопреки своему православному христианству, ему был люб отнюдь не общинный идеал. Отталкиваясь от столыпинского изречения: «Иметь в виду разумных и сильных, а не пьяных и слабых», он рассматривал новейшую историю России как борьбу между сильными и слабыми.

Община была торжеством слабых. Столыпин начал разрушать ее в интересах сильных — предприимчивых сельских хозяев. А 17-й год это революция слабых против сильных. НЭП — снова победа сильных над слабыми, а коллективизация — наоборот.

— И вот теперь сильные ушли в города, — распаясь от водки и течения собственных мыслей, Федос кричал, тыкая пальцем в стену, обозначая соседей, облизполкомовских чиновников, расселившихся по прилесному массиву, — но, будучи крестьянами по происхождению, маятся без земли, без плодов рук своих. Вот почему им так в охотку эти участки. Им бы в кабинетах сидеть, совещания проводить, княжить и владеть в области, а их на землю тянет — пахать да строгать, свои огурчики и помидорчики выращивать, хотя они вам в пайках положены. Это как прерванный процесс развития, как недолюбленность у бабы, все наверстывать тянет.

— Не в том дело, — морщился Горнфельд. — Все было бы по-другому, если б не сталинские перегибы, если бы Ленин еще с десятков лет пожил.

— Да ты что, Вениамин? — кричал Федос. — Ты это все-ерьез? А вроде бы на умного тянешь. Может ты меня с Андрюхой боишься? Что ж это душу в тебе убили. Вон смотри твои единоплеменники на библейской земле ничего не боятся — и воюют, и строят. И землю между прочим пашут отличнейшим образом, в чем им две тысячи лет отказано было. Ты ж еврей...

Горнфельд, не отвечая, прощался. А Андрей, не разделявший воодушевления друга и впадавший в последнее время от водки в меланхолию, начинал рассказывать историю об акуловской бездне. Так назывался совсем уж непролазный кусок дороги под Олсуфьевым.

Как-то ехал он там на узике под вечер. Молча сидел рядом с шофером, уж сумерки наплывали. И вдруг краем глаза ощутил: вроде что-то шевелится на дороге. Остановились. Подошли, с трудом выволакивая ноги из грязи. Увидели: голова торчит, глаза закрыты. Старуху засосало. Молчит, еле дышит. Рыли, рыли — вынули, сапоги остались. Вынули и сапоги. Обмыли ее, отвезли. «За кого, — говорит, сынок, свечку ставить? Я уж с жизнью простилась. Перед Господом приготовилась предстать...»

И все-то Андрею потом казалось, что всех их эта бездна засасывает — людей, зверей, его самого со всеми мыслями и вос-

поминаниями. Не на небо им предстояло уйти, а в землю, в эту желтую глину, под травы, под леса.

— Всех засосет, — пьяно покачиваясь говорил Андрей, — один только ты Федос, как воин Бога, останешься на своем хуторе со своими книгами, быками и пчелами. Как Ной в ковчеге.

— Да знаешь ли ты, Андрюха, какие ты слова произнес — воин Бога? — вскрикивал Федос. — Это ж из предсмертного стихотворения Федора Соллогуба. Он себя воином Бога называл.

И читал:

«Подыши ж еще немного
Сладким воздухом земным,
Бедный, слабый воин Бога
И — уйди как легкий дым!»

А жизнь все шла да шла.

В предновогодие он ехал с участка. В электричку вошли несколько баб. Багроволицые, обветренные, в оранжевых робах, видно, железнодорожные рабочие. Достали бутылку, разлили по картонным стаканчикам, выпили, обнялись и запели:

Ох, лес, ты мой лес,
Белая метелица.
Напилась, нае..лась,
Аж, самой не верится.

Вагон захохотал. Кто-то потянулся к ним со своей бутылкой. Хвоей пахло. Елки везли.

Андрей вздохнул полной грудью и поздравил себя: «С новым годом тебя, Андрей Иванович!»

8

Оказались дела в сельхозинституте. Дела его были чаще всего кляузные — жалоба, комиссия, объяснительная записка... Впрочем, чем же еще ему, исполкомовскому чиновнику, заниматься?

Поговорив с проректором, вышел в вестибюль, покурить. Попыхивая сигаретой, тупо смотрел в никуда, а вернее в себя, в свои мысли.

Урна для окурков стояла рядом со стендом очередной выставки, которые вечно устраивали в вестибюле. На сей раз плакат на стене гласил: «Деятели советской аграрной науки — наши земляки».

Выбрасывая окурки, Андрей повернулся лицом к стенду, скучливо посматривая на разложенные под стеклом тексты, фотографии, схемы, и, сам еще не понимая почему, зацепился взглядом за какое-то письмо или отрывок рукописи. Речь шла о крестьянском хозяйстве, видимо, начала века, которое предлагалось рассматривать не как источник налогов или дешевой рабочей силы для заводов и фабрик, а как семейное трудовое предприятие, живущее по своим законам и отличающееся от капиталистического аграрного предприятия, построенного на наемном труде.

Но не эти умствования ему, человеку более или менее знакомому с историей российских общественных учений, и отдаленно напоминавшие эсеровскую программу, показались интересными, а сам почерк — разгонистый, энергичный, с сильным наклоном вправо. Он где-то видел его, знал, читал. Где? Рядом лежала фотография человека, трудам которого был посвящен стенд. И заглавие — «Академик Юрий Николаевич Олсуфьев. 1888–1937 гг.»

Андрея поразило больше всего не само это очередное семейное открытие (так, значит, не жених Машин был этот Юра, а брат и, стало быть, его дядя), и не то, что он оказался ученым, зачисленным в разряд знатных земляков (что-то подобное он подозревал по отрывкам одного из писем, сохранных в дунинском сундучке — были там рассуждения о том, как принести цивилизацию в забытый Богом крестьянский мир), а другое — почему он, Андрей, при всех своих амбициях историка да еще местного историка-краеведа никогда не слышал этого имени — академик Олсуфьев. Откуда он выпрыгнул на общественную арену, как черт из табакерки, этот дядя Юра, он же академик Олсуфьев? Понятно — дата смерти — 37-й. Но сейчас конец 80-х, эпоха реабилитанса позади, да ведь и делал же он что-то до ареста в аграрной-то науке, имя-то себе составил. Услышь Андрей хоть краем уха это имя, не смог бы не среагировать? Какая-то тут загадка.

Ученый секретарь института мямлил что-то о жертвах репрессий, о восстановлении справедливости... Это ничего не объясняло.

В полном душевном раздразе брел Андрей по центру города в облисполком по улицам, именами своими обозначавшими разрыв отечественной истории — никакой тебе Дворянской, Трехгорной, Рыночной, как значилось на старых городских картах, а Ленина, Дзержинского, Луначарского. И уж для стариков эти названия были настоящими, законными, вечными, как вечной казалась эта власть, которую давно уже никто не называл новой. На Луначарского помещалась редакция областной газеты. Вот куда ему надо пойти. Легкое необременительное приятельство с заведующим сельхозотделом Сережей Парфентьевым возникло после оказанной ему Андреем небольшой услуги при разборе редакционной кляузы. Кляуза забылась, а взаимная симпатия осталась и выливалась она в бесконечные парфентьевские монологи за столиком пивной. Монологи, выказывавшие не только известный артистизм, но и весьма разнообразные познания автора в той же любимой Андреем местной истории, правда, с несколько сельским окрасом.

В данный момент Парфентьев, прижав плечом к уху телефонную трубку, и отвечая собеседнику короткими репликами, другой рукой правил рукопись. Зажав ладонью, микрофон трубки, он кинул Андрею так как будто они уславливались о встрече: «Подожди, сейчас закончу. Я еще не обедал».

Через полчаса за столиком пельменной Андрей слушал парфентьевский монолог.

— История занятная. Только не перебивай. Ты вечно перебиваешь.

Андрей и не думал перебивать, будучи вообще хорошим слушателем, а уж сейчас-то, где там перебивать... Впрочем, Сережа, выпивавший с половиной города, по ноздревской привычке мог перепутать его с кем-нибудь из многочисленных своих приятелей.

— Ты когда-нибудь в Москве в академии сельхознаук бывал, в Харитоньевском переулке? Нет? А я бывал. Это бывший Юсуповский дворец, роскошное такое здание, оно до Юсупова

какому-то дьяку принадлежало. Зал, где президиум собирается, средневековый, портреты бояр вперемежку с призывами партии висят. И вот идет в этом зале очередное словоговорение, не знаю уж, на какую тему и участвует в нем известный американский ученый, гарвардский профессор, социолог и в то же время специалист по нашей истории, один из основателей мирового крестьяноведения.

— Чего-чего? — не удержался Андрей.

— Крестьяноведения. Да-да, брат, есть такая наука на Западе, и занимается она крестьянскими обществами в развивающихся странах — в Индии, Китае, Латинской Америке. Надо бы и нам этим заниматься, да ведь ты знаешь: у нас при слове «крестьянин» еще недавно хваталась за пистолет. Колхозник, совхозный рабочий — пожалуйста.. А крестьянин — это из времен коллективизации. И тут не терминологическое противостояние, здесь идеология. Ладно, я отвлекся. И вот предоставляется слово этому американцу, а он, между прочим, по-русски как мы с тобой говорит. Может, из эмигрантов еще той первой волны...

— Как фамилия-то его?

— Джозеф Ланд. По фамилии ничего не скажешь. Может, из немцев, а может, еврей. И вот этот самый Ланд закатывает речугу на тему, что мы, русские, своих отечественных гениев позабыли, как Иваны непомнящие родства. И в доказательство приводит следующую историю. Где-то в сороковые годы один английский крестьяновед поведал своим французским коллегам, что открыл труд замечательного немецкого ученого — изданную в двадцатые годы в Германии книжку об организации крестьянского хозяйства, полную блестящих и плодотворных идей. Фамилия этого ученого звучит несколько необычно для европейского уха, но, мол, бывает... И вот он, Ланд, прочитав эту книжку, понял, что ее автор вовсе никакой не немец, а совсем даже наоборот русский. Просто книжка была издана по-немецки в Германии. А идеи этого русского затем обрели множество сторонников в разных странах мира, на них зиждется все современное крестьяноведение, все теории аграрной кооперации.

Из зала, естественно, кричат, как его фамилия, фамилию назовите. И он называет медленно так, по слогам: «Ол-су-фьев». Все только плечами пожимают. Олсуфьев? Не знаем такого. Сидят там эти глухие старики еще лысенковского призыва, на борьбе с менделизмом-морганизмом возвращенные, переглядываются: «Как, как? Олсуфьев? Не было такого». И вроде бы специалисты по истории аграрной экономике есть, тоже не знают. Один старичок с места говорит: «Да, был такой теоретик кооперации, да ведь его еще в начале тридцатых объявили врагом народа, обвинили в организации кулацкой партии и расстреляли да так и не реабилитировали». А Ланд ему в ответ с трибуны рубит: «У вас его расстреляли, а крестьянские партии всех стран третьего мира его именем клянутся, собрания его сочинений выходят, по его работам диссертации защищают... Это у вас он враг народа, а во всем мире он друг народа». Президент академии сидит, глаза опустив, желваками играет. А Ланд с трибуны разливается.

— Ты что там был? Уж больно хорошо живописуешь.

— Я не был, а ректор нашего сельхозинститута был. Он всю картину и представил. В цветах и красках. Да так вот Ланд с трибуны разливается. Выводит вопрос на невыносимую научную высоту. О том, что теория модернизации потерпела крушение. Индия это не недоразвитая Англия. У нее свой путь развития. Также как и у России. Принято было думать, что перспектива крестьянского хозяйства — его исчезновение. Это не так. Оно заново обретает себя в новых формах кооперации. И все это предвидел, все предсказал наш соотечественник Олсуфьев. Ну, можешь ты себе такое представить?

— Дальше-то что было?

— А дальше вот что. На утро президент — в КГБ, требует предоставить архив нашего замечательного ученого, кстати до сей поры нереабилитированного, о чем академия немедленно ходатайствует. А связи у президента огромные. Горбач, как ты, возможно, знаешь его в своей команде из Ставрополя привез, и он является его личным сельхозсоветником. В тот же день у него на столе лежит русское издание той самой книжки по организации крестьянского хозяйства, которая так поразила воображение английского крестьяноведа. Он всю ночь ее чита-

ет. Приходит с выпученными глазами. Немедленно собирает свой аппарат: «Это нужные нам идеи, безотлагательно готовим издание его трудов, отмечаем столетие рождения». И вообще полный барабанный бой. Знаешь, как у нас умеют?

— Еще бы не знать.

— И вот мы готовим серию статей об его учении, а в сентябре в дни столетия Олсуфьева у нас, на родине нового отечественного гения, пройдет выездная сессия ВАСХНИЛ, где среди докладчиков будет Ланд, как первооткрыватель и пропагандист этого учения. Тебе все ясно? А теперь давай еще по сто, зажем травкой особой, которая у меня на сей случай имеется, замечательно запах отбивает, и пошли по рабочим местам.

Сессия проходила по первому разряду. Народу понаехало из Москвы, да и из других городов, иностранцы, журналисты... На стене, над столом президиума — огромный поясной портрет Олсуфьева — узкое породистое лицо, щеточка усов по моде двадцатых годов. Где, в каких кагэбэшных архивах раздобыли этот портрет?

Андрея привлекли к обслуживанию, как нередко бывало при крупных мероприятиях такого рода — кого-то встретить, в гостиницу отвезти, наконец, просто на дверях постоять с повязкой «распорядитель».

Ланд — седовласый, сухопарый, румяный американец в возрасте за шестьдесят — в центре событий — докладчик, знатный гость, с президентом академии только что не в обнимку ходит. Все-то он в президиуме, на трибуне или людьми окружен, так что Андрей никак не мог улучшить время подойти. Наконец, выпало. Поймал в коридоре на выходе из туалета: «Вы не могли бы уделить мне немного времени по личному делу?» — «По личному?» — переспросил тот, видимо, недоумевая, какие такие личные дела могут быть у него с этим русским провинциальным человеком из местной обслуги. Но, помедлив, сказал: «Что ж, если по личному, приходите ко мне в номер, лучше всего завтра часов в восемь. Завтра, как будто, никаких приемов и банкетов нет». И, усмехнувшись, добавил: «Укачали вы нас со своим русским гостеприимством».

Ровно в восемь Андрей тихо стукнул в дверь двухкомнатного люкса, куда сам не раз привозил высоких гостей. Ланд во фланелевых брюках и домашнем пуловере распахнул дверь, молча пожал руку, широким жестом указал на кресло у журнального столика, усевшись напротив. Андрей также молча, вынул из папки фронтовое письмо Олсуфьева и протянул его американцу.

Он долго читал и перечитывал его, снял очки, сжал пальцами переносицу, вытер, как показалось Андрею, чуть повлажневшие глаза, затем спросил: «Откуда у вас это?» — «Оно было найдено в вещах моей покойной матери». — «Вы сын Марии Олсуфьевой? Боже мой. А я сын Юрия Олсуфьева, и значит мы двоюродные братья».

Почему-то ни одно из предшествовавших открытий его происхождения, включая даже историю с Мозгалевым, не подействовало на Андрея так оглушающе, как это. Он почувствовал как отливает кровь от лица и его охватывает странная дрожь, словно при лихорадке.

И Ланд судя по всему это заметил. — Что с вами? — воскликнул он. — Вам плохо? — И метнулся к серванту. — Подождите. Выпейте коньяку. — Плеснул в фужер, подал его Андрею, налил себе, и они долго сидели, молча попивая коньяк.

— Вас, конечно, прежде всего интересует, — прервал молчание Ланд, — почему я, Иосиф Юрьевич Олсуфьев, ношу имя Джозеф Ланд? Через несколько лет после моего рождения отец оставил нас с мамой. История тривиальная. Роман нестарого еще профессора с секретаршей. Мама же при разводе взяла свою девичью фамилию Ланд, она была из еврейской семьи. И мне дала эту фамилию, когда отца арестовали, видно, стремясь как-то избавить меня от клейма сына врага народа.

Некоторое время мы жили в Москве, где она преподавала немецкий язык, а потом ей удалось уехать со мной в Польшу, откуда она, собственно, и была родом и где жили бабушка и бабушка. Так что во время войны мы оказались в Варшаве, в еврейском гетто. Я уцелел там единственный из всей семьи. И мама, и бабушка с бабушкой скоро умерли от тифа. А я участвовал в восстании гетто, чудом спасся, после войны пере-

брался в Израиль и там воевал уже в войну за независимость. Потом учился сначала в Иерусалиме, а затем уехал в Штаты, в Гарвард, который мне тогда казался лучшим университетом в мире. Дальше все по накату. Докторская диссертация, профессура. Я специализировался на социальной истории, много исследовал российские процессы. Потом стал заниматься крестьяноведением.

— Это по наследству?

— Если и по наследству, то неосознанно.

— А был соблазн обратно взять отцовскую фамилию?

— Да, пожалуй, что и нет. Уж коль скоро мать, спасая меня, дала свою, и я хоть и не по своей воле (я тогда ребенком был) как бы отрекся от отца, так нехорошо, когда он стал знаменит, нарекать себя его именем. Да и память матери для меня священна. Так что я уж Ландом останусь до конца дней.

9

Последующие две недели они не расставались. Джозеф после сессии продлил свое пребывание в России, а Андрей взял отпуск. Вместе поехали в Олсуфьево. Постояли, сняв шапки как на кладбище, в осиннике, выросшем там, где располагался дом их предков.

На ожидавшем их исполкомовском узике вернулись в райцентр, но от ужина, предложенного секретарем райкома, отказались. Поужинали в номере гостиницы.

Все здесь было так привычно Андрею и так внове Джозефу — перестроенный деревянный двухэтажный дом, принадлежавший, видимо, когда-то состоятельному местному жителю, холодные сени, длинный коридор, где вечно толпились у телевизора скучающие постояльцы, кровати с провисшими пружинами и сползающими матрасами.

В соседней комнате гомонили шоферы, работавшие на строительстве дороги. У ворот гостиницы в ряд смиренно стояли их «КАМАЗы» с прицепами. Сами же они пили, стучали костяшками домино, громко хохотали до первого часу ночи. Но поднялись с тем же шумом и матом часов в шесть.

С Джозефа как-то быстро слетело американское — ясность глаз, улыбочка, раскованность жестов. В темной синтетической курточке и кепке он выглядел интеллигентным российским стариком, углубленным в свои мысли. И пить стал по-русски — не пригубливать из бокала, а опрокидывать стопкой, заедая, чем Бог послал.

В тот вечер он послал хлеб, прогорклый колбасный сыр да четвертинку местной не самого лучшего качества водки. Только вот чай был отличный — индийский со слонем, добытый Андреем в облисполкомовском буфете.

Утром им предстояло ехать в самую бездорожную глушь, к границе района да и области тоже, к реке — одному из притоков Волги, по которому, собственно, эта граница и проходила.

Джозеф просил показать самый слабый, «лежачий» колхоз, а носил он по иронии судьбы название «Рассвет». Туда, в этот «Рассвет» они и направлялись.

Сначала кончился асфальт, потом грейдер, пошла грунтовка, непросыхающая даже в самые сухие летние дни. Их сопровождал второй уазик на случай, если один сядет — другой вывезет.

Медленно двигались по огромным разбитым тракторами колеям, по пластикам размокшей глины, ныряли в огромные лужи — коричневая вода шумела как прибой, расступаясь под колесами. Машина ревела, буксовала, билась, содрогаясь, казалось, в последних усилиях, их швыряло из угла в угол кабины и никакой передышки не виделось в этом нескончаемом пути. Пошли лесные объезды, мокрые еловые ветки хлестали по ветровому стеклу. Узкая тропа виляла среди сосняка.

Возвращались на дорогу, но там становилось еще хуже. Ни надсадный рев двигателя, ни бешеное вращение руля — ничего не помогало. Коричневая грязь летела из-под колес и многострадальный уазик садился все глубже. Приходилось вылезать и проваливаясь по колено (благо, резиновыми сапогами их в райкоме снабдили), прицеплять трос к задней машине.

— Рывочком!

С третьего рывка выползали. Где-то выходили с пилой на обочину — валить небольшие осинки, обрубить ветки, кидать в огромные подернутые желтой водой колеи стволы, пры-

гать на них, проверяя прочность гати и осторожно, ювелирно вращая баранку переезжать.

Иногда вдоль обочины стояли дома — на высоких подклетьях, с небольшими окошками, тусклые от дождей и старости. Кое-где наличники подкрашены — значит живут. В иных — окна заколочены, а то и крыша провалилась, проросла бурьяном. Где-то — полуразвалившийся коровник с распахнутой дверью.

Наконец, показались ободранные купола церкви — село Рылово — центральная усадьба колхоза «Рассвет». Остановились на задах какого-то подворья, помыли сапоги. Из-за угла дома вышел председатель — круглолицый, лет сорока, с хмурым лицом и озабоченными, какими-то тоскующими глазами. Повел в контору, сел за стол, растопырив локти и монотонно начал рассказывать о колхозной жизни — вымирание деревень, детей так мало, что школу уж лет пятнадцать закрыли, несколько ребятишек ходят зимой по льду через реку в соседнюю область, осенью же приходится переправлять их на лодке, надоевшие, но и то молоко некуда девать при отдаленности от райцентра и бездорожье...

Он перечислял свои беды, равнодушно, сонно, как четки низал. Никакого оживления и интереса приезд облисполкомовского чиновника с каким-то загадочным американцем у него не вызывал. Ему было все равно, кто перед ним. Похоже, они находилось на дне колхозной жизни, у последней точки реализации этой безумной идеи.

Поздним вечером они сидели за остатками ужина в боковушке председательского дома, где их определили ночевать. Хозяева давно спали. За окном невидимая в темноте текла река, та самая через которую последние деревенские дети переправляются осенью на лодке, а зимой — по льду (говорят, один ребенок недавно под лед провалился) и, казалось, эта река границей не области, а некоей бездны, куда уходит все — прошлое и настоящее, их надежды и тоска.

В эту бездну ушли их отцы. Рыжеватый коротконогий алкаш — таким виделся Андрею Мозгалев. И Олсуфьев, но не тот холеный

с щеточкой усов профессор, каким он выглядел на портрете, осевшем сессию академии, а другой — с тюремной фотографии, выданной Джозефу в Москве, — жесткое подсохшее эковское лицо, и в глазах — безысходность, тоска смертная.

«Все знал, понимал, что не выйти ему оттуда. И уж как перед арестом искал с ними компромисс, писал о совхозах, предрекал им большое будущее, все бесполезно — все его теории, все работы были проникнуты духом антиколлективизаторским. Никакой кулацкой партии он не создавал, обычная следовательская выдумка. Просто чужд он им был по своему мышлению и заранее обречен».

То была их общая бездна. Но у Джозефа имелась еще и своя, о которой он много говорил в ту глухую бессонную ночь. Из всей его длинной и бурной жизни, где была и война в палестинской пустыне, и скитания по южноамериканской сельве, по экзотическим индийским деревням, где он искал материал для своих крестьяноведческих построений, постоянно жили и бились в нем два юношеских года в варшавском гетто. Они снились ему в разных ликах и подобьях, служили фоном всей остальной жизни, врываясь в нее лейтмотивом обреченности, безысходности, смерти, ставшей бытом.

Кровь, смешанная с дерьмом. Пух вспоротых перин, покрывавший мостовые как снег. Вонь каналов и духота бункеров, откуда их выкуривали как крыс. И вдали — крик заживо горящего товарища, которому уже никто не может помочь.

А порой наплывало другое. Укрытие на чудом сохранившейся в разрушенном доме лестничной площадке. Перспектива улицы или, вернее, того, что от нее осталось после взрывов и пожаров. Небо над головой майское синее. Усыпляющее тепло. И все кажется иллюзорным: война, страдание, смерть. Есть лишь дневная тишина и сияние весеннего солнца. Только вот рука лежит на рукоятке пистолета и этот пистолет — единственная и главная реальность, та нить, на которой висит твоя жизнь.

Напоследок поехали к Федосу. Американца уже ничто здесь не удивляло и к этому сельскому философу, как Джозеф назвал Федоса позднее, он отнесся спокойно.

Со сдержанным интересом рассматривал старинные книги на полках, обстановку комнаты, отнюдь не носившей следов холостяцкого быта — так чисто, покойно здесь было и пахло сухими травами.

— Не одиноко вам здесь? — спросил он за чаем. — Не тянет к людям?

— Привык. Сначала был полон собой, своими мыслями, никто не отрывает, не мешает. Особенно зимой. Задал корм, попоил своих скотов бессловесных — сиди, читай, думай — дни короткие, ночи длинные. И слово Божье в этой тишине так в душу западает. А в последнее время мысли давить стали, хочется излить их. Мир тягостен, грешен, страшен человеку. Вот и придти к нему с библейским словом.

— Услышат ли?

— Кричать надо. Вопить, как Йов, Иеремия. Кто-то услышит.

— Власть страшна. Сломает она тебя, — вмешался Андрей

— Власть безлика. Один другого там боится. И не поймешь, откуда зло исходит.

— Но ведь требует она своего. «Неть бо власти, аще не от Бога». Я так понимаю эти слова: как бы не был ненавистен тебе властелин, в его власти содержится то самое Надо, которое он выполняет помимо своего желания. Я вот вычитал в дневниках Пришвина: «Надо — это и есть Бог».

— О, нет, нет. Бог это не закон! — воскликнул Федос. — Это философия выводит Бога из морального закона. А нужно наоборот. Бог творит закон. Бог творит истину.

Андрей рассказал, о казалось бы, пустяковом эпизоде, который засел у него в памяти со времени последней его командировки. На собрании молодая бабенка на все корки костерила свое фабричное начальство, которое детский сад построило не в селе, где живет большинство рабочих, а у фабрики, за околицей. Директор привычно и устало, как бы снисходя к ее неразумию, разъяснял, что министерство финансирует благоустройство фабричного поселка, а отнюдь не села и ничего тут не сделаешь, таков порядок, закон. Но она не слышала и не хотела слышать. И Андрей вдруг ощутил эту ее правоту, извечную правоту человека, а не власти. Ну, в самом деле, какое отношение ее ребе-

нок, живой ребенок, который плачет, пищит, и которого зимой по снегу, а осенью по грязи за три километра приходится в сад таскать, имеет к этому слову — фи-нан-си-ро-ва-ние?

Андрей сам не понял, почему он вспомнил эту историю. Ничего кроме привычного рассуждения по поводу того, что власть говорит на одном языке, а люди на другом, из нее не простекало. Но Федос уловил иную связь.

— Так это и есть вызов жизни закону. И Бог на стороне человека, когда он бунтует, верит в свое право бросать вызов системе. За всяким бунтом массы стоит боль, не воспринимающая логики разума, необходимости.

— Отсюда и революции? — тихонько спросил Джозеф

— Революция, бросая вызов необходимости, рождает другую более жесткую необходимость.

— Так вы за бунт?

— Я за вызов, за вопль, за безоглядность.

— Йов бунтует против Господа своего?

— Он вопль свой представляет на суд божий.

10

Больше они не увиделись.

Расставаясь, договорились переписываться. Джозеф обещал постоянно приезжать. Научные интересы в России у него всегда имелись. Но теперь ездить можно без проблем. Конечно же, Андрей был зван в Штаты. И чтоб не думать о деньгах, будет прислан оплаченный билет. А там, в Бостоне, дом, живи — не хочу. Надо же и с семьей джозефовой познакомиться, с новыми родственниками — с женой, с сыном. Сын хоть и по-русски ни слова, в этом его, Джозефа, вина, а все же — наследник всего олсуфьевского рода, единственный сын, единственного сына и так далее вплоть до того почтенного господина с бородой и крахмальной грудью, сидящего на снимке из дуниного сундучка в окружении жены и дочери — их общего деда.

Поначалу казалось, что все так и будет. Андрей примерно раз в месяц получал письма из Бостона, исправно отвечая. Но приезд все откладывался. Джозеф болел, лежал в госпитале

и в одном из писем проскользнуло что-то о необходимости завершить дела, кто знает, какой срок нам отпущен на этой земле.

Потом пришло письмо от Дэвида — сына Джозефа. Он сообщил, что отец умер от инфаркта и завещал ему поддерживать связь с Андреем, которого Дэвид считает дядей и он обязательно, как только острота утраты пройдет, приедет в Россию по-видаться. Письмо было напечатано на компьютере по-русски, видно, кого-то из эмигрантов пришлось просить.

И ведь действительно приехал. Похожий на отца — такой же сухощавый, рослый, с ясными глазами — и абсолютно чужой. С Джозефа обличье гарвардского профессора сползло, как только они сблизились, поехали в район. У сына все выглядело органично: громкий смех, спортивность, недоступный Андрею юмор. Ему было под тридцать и занимался он, если Андрей правильно понял, торговлей ценными бумагами, биржевым маклерством.

Он поселился в том же люксе, что и отец в свое время, нанял интуристовскую переводчицу, ходил в сопровождении ее и Андрея по городу, рассматривая все с первозданным любопытством. Потом поехали на такси в тот же осинник, где, как было известно Дэвиду, некогда находился родовой дом. Постояли, сняв шапки. Переводчица мерзла на зимнем ветру, не понимая смысла этого обряда. Да и Дэвид, судя по всему, выполнял его без особого энтузиазма, по завету отца.

В первый же вечер он как пропуск, как знак родства показал Андрею все ту же фотографию из дуниного сундучка, переданную ему отцом, и весело сказал: «Гранпа и гранма». Андрей понял без перевода, но не знал как сказать, что гранпа, то есть дед — Юрий Николаевич Олсуфьев, а это — прадед и прабабка. Переводчица не знала, как будет прадед. Впрочем, это было все равно.

Андрей подумал о непредсказуемых извилах истории. Должен же был старинный род Олсуфьевых, насчитывавший и дьяков, и стольников, и гвардейских офицеров девятнадцатого века закончиться на этом ясноглазом биржевом маклере из Бостона. Наверное, и Юрию Николаевичу трудно было вообразить себе такого внука.

На прощание Дэвид пытался всучить довольно толстую пачку долларов. Андрей жестко отказался, о чем потом, в дни старческой нищеты не раз жалел хоть и понимал, что остаток жизни на эти доллары все равно прожить не удалось бы.

Уже в аэропорту племянник вдруг хлопнул себя по лбу и сказал, что забыл о главной отцовской просьбе. За несколько дней перед смертью он просил передать Андрею специально найденную в русском магазине книжку. Просто передать и все, Андрей, мол, сам поймет.

Но Андрей ничего не понимал. Это был русский перевод романа Томаса Манна «Доктор Фаустус». В чем смысл такого странного посмертного подарка? Полистав книжку уже дома, он наткнулся на подчеркнутое место. И все понял. Дьявол объяснял Адриану Леверкюну, что такое ад. «Там все прекращается — не только словесные обозначения, вообще все — это даже главный его признак, существеннейшее свойство и одновременно то, что узнает там новоприбывший, чего он поначалу не может постигнуть своими, так сказать, здоровыми чувствами и не желает понять, потому что ему мешает разум или еще какая-нибудь ограниченность понимания, — словом, потому что это невероятно, невероятно до ужаса, хотя по прибытии ему как бы вместо приветствия в самой ясной и убедительной форме сообщают, что «здесь прекращается все» — всякое милосердие. Всякая жалость, всякая снисходительность, всякое подобие уважения к недоверчивому заклинанию: «Вы не можете, не можете так поступать с душой». Увы, так поступают, так делают, не давая отчета слову, в глубоком, звуконепроницаемом, скрытом от Божьего слуха погребке — в вечности».

Ему вспомнилась их поездка в «Рассвет» и дом на берегу, где в темной осенней ночи они говорили об аде — том, который пережил Джозеф, и том, который не пережила мать Андрея и где его отец был одним из бесов.

11

В 90-м, как только стукнуло 60, Андрей оставил работу. Сначала жилось вольно и покойно. Пенсии хватало, да

и на книжке скопилось несколько тысяч, Просто так скопилось без специального сбережения. Тратил он на себя всегда мало. Разве, что водочка тянула из кармана, но в последние годы и пил-то мало — после бани — четвертинка и все тут.

Реформа 92-го превратила его тысячи в дым. А они теперь-то как никогда были ему нужны. Пенсия, съедаемая инфляцией, стала копеечной.

Первые годы выручал огород. То самое, ради чего он брал его, наступило. И предсказание мрачного бригадира, казалось, вот-вот сбудется: «Жрать станет нечего — побежите в деревню, как в гражданскую войну». А пока он «под лопатку» перекапывал свой участок, сажая картошку и овощи. Себе хватало до нового урожая, а излишки продавал на рынке.

Со временем такая большая копка и посадка стали ему не под силу. Пришлось сокращать огород до минимальных размеров. И подрабатывать — а он в первые пенсионные годы то сторожил, то афиши расклеивал — не всегда удавалось. За эти немудреные занятия шла борьба оголодавших стариков.

Он похудел. Лицо избороздили глубокие складки, брови — кустистые, седые — нависли над глазами. Из-под этих бровей Андрей посматривал на новую жизнь без отчаяния и злобы, как многие его сверстники, но и не без горечи.

Все повторялось в России, все повторялось — каждый раз по-новому на новом витке исторической спирали и все же узнаваемо. У Ключевского вычитывал он о Смутном времени — о сожженных селах, о заброшенных избах, где лежали неубранные трупы, так что путники из-за смрада предпочитали ночевать на морозе, о том, сколько сил надо было затратить, чтобы собрать разбежавшихся людей, посадить их на прежних местах, «втолкнуть в житейский обиход».

Он не знал нынешней жизни, никуда не ездил, мало виделся с людьми, но по отдельным рассказам, по встречам со знакомыми в окружающих его садовый участок деревнях, все-то ему казалось, что за чертой города с его сникерсами и бананами, с разрушающимися домами и редкими автобусами, там, где кончаются мостовые и дороги с твердым покрытием — глушь, смерть, тишина.

Конечно, он понимал, что где-то пахнут и сеют, хотя и скудно, но все же живут. Однако уже в его времена сколько полей зарастало березняком, так страшно было бездорожье, отчаянно — пьянство, так одиноки в этих вымиравших деревнях были старики... Что же теперь-то?

Однажды он встретил Федоса. Или ему показалось, что это Федос? На городском рынке среди старух, торгующих целебными травами и сухими грибами, сидел на земле, поджав ноги, худой, лысый, обросший редкой бородой человек и громко читал Библию. Андрей узнал строки из книги Иеремии.

«Утроба моя! Утроба моя! Скорблю во глубине сердца моего, волнуется во мне сердце мое, не могу молчать; ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани».

Никто не обращал на него внимания. Старухи стояли, безучастно вытянув руки с гирляндами сухих грибов. Поодаль кавказец в кепке-аэродроме зевал над фруктовым натюрмортом. Над кусками жирной свинины в мясном ряду вились мухи. Рынок в этот летний будний час был малолюднен.

А человек читал, чуть покачиваясь, полузакрыв глаза, но голосом звонким, внятным, так знакомым Андрею по их ночным бдениям. «Сейчас будет: "Беда за бедою, вся земля опустошится..." — подумал Андрей. — И как это я помню? А говорят, у стариков памяти нет».

«Беда за бедою;-произнес человек, — вся земля опустошается, внезапно разорены шатры мои, мгновенно — палатки мои.

Долго ли мне видеть знамя, слышать звук трубы?

Это оттого, что народ Мой глуп — не знает Меня; неразумные они дети, и нет у них смысла; они умны на зло, но добра делать не умеют».

«Господи, как точно-то — "умны на зло, а добра делать не умеют"», — думал Андрей. И все вспоминал, когда же это в последний раз он приезжал на федосов хутор? Дом стоял с забитыми окнами, сараи пустые. В колхозе сказали, что уволился без объяснения причин и исчез. Андрей приезжал снова, расспрашивал местных мужиков, одни говорили: в монастырь подался, другие — бродяжничать пошел, кто-то даже

видел его в облике бомжа. А он вон что, стал базарным пророком.

Трудно было прервать его. И текст, текст-то какой выбрал!

«Смотрю на землю — и вот, она разорена и пуста — на небеса, и нет на них света.

Смотрю на горы — и вот они дрожат, и все холмы колеблются.

Смотрю — и вот, нет человека, и все птицы небесные разлетелись».

Наконец, он встал прямо перед ним, заслонив солнце. И чтец остановился, поднял голову.

— Федос? — тихо и вопрошающе позвал Андрей.

Человек смотрел на него мутным отстраненным взглядом, словно выходя из сна. Потом в этом взгляде мелькнуло что-то живое, какая-то искра узнавания...

— Федос! — уже радостно сказал Андрей.

Но искра погасла, человек замахал руками — отойди, мол, не знаю я тебя... И Андрей отошел.

Он возвращался домой, так и не купив кусочек мяса, к которому приценивался, — оказался тот дороговат.

Шел через городской парк, где на скамейках дремали или безмолвно сидели, уставившись в землю пустым взглядом, такие же как он старики. Зелень была пыльная, летняя. Небо жаркое, но белесое и скучное. В книге Иова сказано: «небеса, твердые, как литое зеркало». Это в молодом и яростном мире бывают такие небеса.

Не узнал, не захотел узнать? А может это просто похожий на него юрод? Нет, это Федос. Как это он тогда сказал, когда они с Джозефом к нему приехали: «Кричать надо. Вопить, как Йов, Иеремия. Кто-то услышит». Три старухи с сухими грибами. И он, базарный пророк, вопль свой представляет на суд Божий. Что ж, видно, по-другому не может. У каждого свой путь.

Вечером пришла Катя. На старости лет они подружились. Жизнь у Кати не задалась. Ни карьера, ни замужество не получились. Она оказалась с такой же пенсией, как и Андрей, и если бы не помощь разбогатевшей племянницы, пожалуй, и не доедала бы. Потеря надежд и амбиций преобразили ее

и внешне. Теперь это была пухлая веселая старушка, с просто-душным интересом смотревшая мыльные оперы и напевающая модные шлягеры, услышанные по телевизору, точно также как во время их студенческих скитаний подпевала она пластинкам тех лет.

Замыкая круг жизни, она, как ни странно, возвращалась к облику и интересам юности. Исчезли женская стать и фигурность, снова появились коротконогость, румянец, только теперь уже старческий, хитроватость и простоватость одновременно.

Андрей снабжал ее картошкой со своего огорода, помогал в домашних делах, она же в свою очередь после каждого визита племянницы, приносившей недоступные старикам деликатесы, навещала к нему с чем-нибудь вкусным, не забывая, правда, остатки забрать с собой.

Вот и в этот раз она пришла с куском сырокопченой колбасы, в их молодости она называлась «Краковская».

У Андрея нашлось немного водки, и они устроили себе праздник. Выпили по рюмочке и лакомились колбасой. Сидели перед телевизором, где на экране разливались очередные мексиканские страсти, и сосали тоненькие, бумажной толщины, коричневые ломтики, ощущая языком мясную копченую горечь, запивая ее чаем.

Главное не думать, не вспоминать, не заглядывать в будущее. Просто так вот сидеть у телевизора, в тепле, когда ничего не болит, сосать колбасу, пить чай и — жить пока живется.